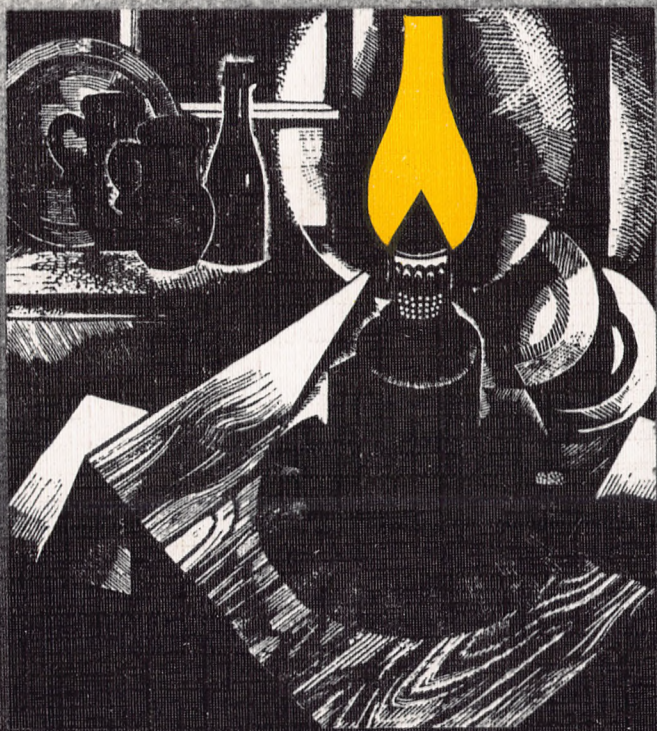


ВСЯ НАША ЖИЗНЬ

Воспоминания Галины Ивановны Левинсон
и рассказы, записанные ею



ВСЯ НАША ЖИЗНЬ

Воспоминания Галины Ивановны Левинсон
и рассказы, записанные ею



«Мемориал»
Москва, 1996

ББК 84.42
Л36

Редакционная коллегия
издательской программы «Мемориала»:
А.Ю.Даниэль, Л.С.Еремина, Т.И.Касаткина,
М.М.Кораллов, Я.З.Рачинский, А.Б.Рогинский (отв.ред.)

Издание подготовили О.Блинкина, Е.Великанова

Предисловие Н.Охотина

На обложке книги воспроизведена ксилография Н.Н.Купреянова
из собрания Русского музея

ISBN 5-88255-012-2

©НИПЦ «Мемориал», 1996

©И.В.Бороздина, оформление, 1996

У этой книжки много авторов и много героев. И все-таки все, собранное в ней, может быть объединено одним именем, одним взглядом. Конечно, сама Галина Ивановна Левинсон, чьи воспоминания и записи мы сейчас публикуем, не думала об издании. Лишь в 1994 г., спустя два года после ее отъезда в Америку — нерадостного ни для нее, ни для нас — ее материалы были окончательно обработаны и постепенно сложились в книгу. Многое из наработанного по разным причинам осталось за ее рамками. К сожалению, в число «многого» попали и дружеские письма Г.И., которые мы постоянно получали в эти годы и надеемся получать впредь. Это короткое предисловие — дань нашей дружбе.

Г.И. пришла в «Мемориал» одной из первых. Большинство из нас тогда — в 88-89 году — демонстрировали безудержный энтузиазм и были уверены, что победа демократии и восстановление исторической справедливости напрямую зависят от числа проведенных собраний и громогласности выступлений против всего на свете, в том числе и друг против друга. Грешили этим и старые ээки — сотоварищи Г.И., и молодые активисты. Строгое, даже, пожалуй, резкое, умное, ироничное лицо Г.И. почему-то совершенно не ассоциируется у меня с этими баталиями.

Зато отлично помню ее, с неизменной «беломориной» в руке, на маленьких семинарах, где обсуждались скучные, но от этого не менее головоломные проблемы — как ответить на десятки тысяч писем, как разобрать и описать всю эту массу хлынувших в «Мемориал» документов, как записывать устные рассказы. Г.И. избегала что-либо предлагать по существу, предпочитала задавать вопросы. Они были всегда «по делу» и очень точно разоблачали недодумки в предложенной технике. Пропуская через себя огромное количество — сотни, тысячи — анкет, документов, свидетельств, судеб человеческих (в свои восемьдесят с гаком Г.И. работала очень много и очень тщательно), она, может быть быстрее всех нас, научилась различать типовое и неповторимое, правду и вымысел, искренность и наигрыш. Сказывалось пытлиное и очень трезвое отношение к жизни. И еще одно выделяло Г.И.: настоятельная потребность «одушевить» документ, обязательно увидеть человека, за ним стоящего. Отсюда — дополнительная переписка, бесконечные телефонные звонки, встречи.

У Г.И., упрямо отказывавшейся признать за собой какие-либо таланты, оказался по меньшей мере один, и очень важный — талант человеческого контакта. Ей легко доверялись и легко рассказывали даже о самых затаенных или «запретных» вещах. Сначала Г.И. только слушала, потом стала записывать — десятки этих кассет сейчас хранятся в архиве «Мемориала», расшиф-

рованные, к сожалению, лишь наполовину, а публикуемые здесь и вовсе в малой своей части. Вести многочасовые беседы «под магнитофон» — тяжелый труд. У немногих наших интервьюеров хватало терпенья больше, чем на одну встречу. У Г.И. с терпением проблем не было. Думаю, потому, что ею руководил не интерес к фактам, а сочувствие. Собственно, из этой работы, из этих встреч и получилась книжка. Просто вслед за чужими судьбами пришло время осмыслить и записать свою.

Г.И. писала воспоминания спокойно и усердно, как бы исполняя будничную обязанность. По крайней мере внешне это выглядело именно так. Я не буду ни пересказывать их, ни оценивать, ни комментировать, ни анализировать. Их простота, неприязнательность не нуждаются в истолковании, в них все на виду, как в честном рабочем отчете. Отчете о жизни — «бедной на взгляд, но великой под знаком понесенных утрат».

Мне кажется, что перечень и осознание утрат — и есть содержание мемуаров Г.И., записанных ею рассказов, всей этой книжки. Насильственная утрата всех и всяческих связей (дома, детей, родных, друзей...), а в довершение — отторжение личности от самой себя, беспамятство — не это ли основной признак «великой эпохи» (не только сталинской, нашей тоже)? Расставание, как способ жизни, из сферы личного опыта перешло в России двадцатого века в область опыта социального, закрепленного судьбой нескольких поколений, превратилось в трагическую универсалию. Разобщение создается пассивностью, но чтоб по-настоящему зарастить разрывы — нужна воля. В этом волевом усилии — смысл работы Г.И.Левинсон.

Н.Охотин

От составителей

Воспоминания Г.И.Левинсон, написанные в 1991-1992 годах, печатаются по рукописи, которая хранится в архиве «Мемориала» (ф.2, оп.1, д.82), с небольшими авторскими дополнениями и исправлениями. До своего отъезда Г.И. не успела подготовить записанные ею тексты к изданию; отбор, обработку и авторизацию интервью мы взяли на себя. Редактируя текст книги, мы ограничились только самой необходимой стилистической правкой.

Пользуемся случаем поблагодарить Наталью Иосифовну Малисову, Никиту Васильевича Петрова и Геннадия Валерьевича Кузовкина, оказавших помощь в нашей работе, а также Тамару Давыдовну Руженцеву, расшифровавшую как вошедшие, так и не вошедшие в книгу магнитофонные записи, сделанные Г.И.Левинсон.

Г.И. Левинсон

Я ПОСТАРАЛАСЬ ЗАБЫТЬ...



Г.И. Левинсон, 1991 г.

8 августа 1936 года у меня родился сын. Мне очень хотелось иметь ребенка, и хотя я тогда училась на втором курсе инженерно-строительного института со стипендией двадцать семь рублей и муж мой, незадолго до этого окончивший гуманитарный факультет (не помню, как назывался), тоже зарабатывал очень мало, все равно это было большое счастье.

В роддоме меня задержали несколько дольше, чем положено, поэтому мы отправились в ЗАГС регистрировать рождение нашего сына только в двадцатых числах августа. А в ночь с 26 на 27 августа мужа арестовали.

Но, наверное, надо начать по порядку и рассказать, кто мы такие и что было до этого переломного момента жизни.

Детство

Я принадлежу к поколению, которое не принимало участия в революции по возрасту, но кое-что о ней все же помню.

Родилась я в Москве 7 апреля 1909 года в семье присяжного поверенного Ивана Яковлевича Левинсона и его жены, урожденной Добромысловой Марии Александровны. Оба родились в 1895 году. Отец мой еврей, мать русская. Отец из довольно состоятельной семьи — мой дед был врачом Мариинского театра в Петербурге. Почему он имел разрешение жить в Петербурге — то ли потому, что имел высшее образование, то ли потому, что крестился, — не знаю: я видела своего деда всего один раз. Родственники отца, Молдавские, где-то на юге владели нефтяными промыслами; двоюродная сестра отца, Бальбина Даниловна Гурьян, имела собственную аптеку

в Москве. Брат отца, Андрей Левинсон, был довольно известным искусствоведем. О нем упоминает Корней Чуковский как о частом госте Репина в Пенатах. Братья росли с гувернантками и знали несколько иностранных языков. Когда отцу было четырнадцать лет, у него умерла мать; дед женился снова, имел еще двоих сыновей. Их я не знала. Вся семья деда умерла в блокадном Ленинграде от голода.

Жизнь двух старших братьев сложилась по-разному. Андрей Левинсон рано эмигрировал, году в восемнадцатом, преподавал в Сорбонне и умер еще до гитлеровской оккупации. Что случилось с его семьей, не знаю. Мой отец в 1905 году вступил в партию большевиков. Видимо, тогда же он познакомился с моей матерью, которая вступила в РСДРП в том же году.

Здесь чуть подробнее об отце. О нем я знаю не очень много, потому что жили мы вместе недолго. Мы с мамой разъезжали, а отец оставался в Москве. Знаю, что отца исключили из партии в 1919 или 1920 году. Будучи присяжным поверенным, или, по-нынешнему, адвокатом, он взял кого-то на поруки, а тот сбегал, может быть, и в эмиграцию, и отца исключили из партии. Других последствий не было.

Мы с мамой вернулись в Москву в 1923 году. Отец как беспартийный спец работал заместителем управляющего какого-то треста. Был нэп.

Через некоторое время он перешел работать во ВЦИК, в комиссию законодательных предложений. Возглавлял комиссию человек по фамилии Бернштейн, член партии. Я видела его и запомнила, а вот имя-отчество вылетело из головы. Остальные четыре юриста, по-моему, были все беспартийные, так же как и мой отец. Он принимал участие в разработке сталинской Конституции 1936 года. Потом, поскольку он хорошо владел иностранными языками, он эту конституцию перевел на французский язык. А в дальнейшем случилось вот что: в 1937 году, в ноябре, его арестовали как шпиона в пользу Франции. Он сидел до 1946 года. Знаю, что он сидел в Воркуте, кажется, даже в одном бараке с Рокоссовским. Но отец был человеком очень немногословным, поэтому ни о следствии, ни о тюрьме, ни о лагере он никогда ничего не рассказывал. Году в 48—50-м он каким-то образом добился приема у Вышинского (они были однокурсники), но получил отказ в реабилитации и тут же, в кабинете, упал; с ним случился инсульт.

Реабилитировали его в 1956 году и вскоре — в 1958-м — он умер.

Тут можно добавить один штрих: когда происходил арест и обыск в квартире отца, его второй жены дома не было. Она как раз в это время возвращалась домой. Жили они в правительственном

доме, но не в «доме на набережной», а в каком-то другом, около Никитской. У ворот сидела вахтерша, и вахтерша сделала ей осторожный знак рукой — уходи. Жена отца ушла, и, может, потому не была арестована. Уже позже она узнала об отце, потом где-то скиталась с ним, когда он был на «минусе» после сорок шестого года (и до пятьдесят шестого). Впоследствии они с моей матерью подружились. Хорошая женщина была. Умерла она своей смертью.

Теперь о матери. Мать совсем из другой среды. Ее отец, мой второй дед, дворянин, главный ветврач Оренбургской губернии. Многочисленные братья и сестры деда, а их было двенадцать, все стали священниками или женами священников. Их я тоже видела всего один раз в жизни. Когда мне было года два-три, мама со мной поехала на лето в город Ардатов, где почему-то осели все ее родственники.

Можно упомянуть еще о моем прадеде, отце бабушки со стороны матери. Бабушка была польская дворянка, ее отец погиб на царской каторге как участник Польского восстания. Я даже фамилии его не знаю.

Мама поступила в Москве на Высшие женские курсы, на химический факультет, но вынуждена была оставить учебу, так как заболела туберкулезом. Прожили вместе мои родители несколько лет, а когда мне было три с половиной года, мирно разъехались, оставшись друзьями до конца жизни.

Себя я помню примерно с трех лет. Первое воспоминание — выборы в Четвертую Думу. Я вместе с мамой ходила на избирательный участок и опустила за нее бюллетень — белый квадрат размером примерно 12×12 см с крупной черной цифрой 5 посередине. Это был номер партии большевиков.

Когда я уже была подростком, отец мне рассказал, что, знакомясь с архивом царской охранки (зачем?), он обнаружил досье на мою маму. Там хранились донесения о том, что Добромыслова Мария Александровна является связанной партии большевиков. Выполняла ли мама какие-нибудь поручения после моего рождения, я не знаю. Отец, будучи адвокатом, часто выступал (бесплатно) в суде, когда надо было защищать рабочих. Но об этом я тоже ничего толком не знаю.

Мама моя была озорница. В красном углу комнаты, где полагается висеть иконам, у нас красовался большой портрет Карла Маркса. Однажды, уже подростком, я спросила маму: слышала ли она Ленина? Мама ответила: «Нет, мне это было неинтересно». Зато я прекрасно помню, что в 1917-м она часто бегала на митинги, в частности слушать Церетели — меньшевика. Ни Маркса, ни Ленина

мама, конечно, не читала: теоретические вопросы ее не интересовали. Она просто была бунтарка по натуре, очень деятельная, очень подвижная. Видимо, поэтому она и вступила в ряды большевиков как в наиболее деятельную партию.

Идеалисты, мечтающие о справедливом обществе для всех, но слабо или почти ничего не понимающие ни в политике, ни тем более в экономике, — таков, по-моему, был круг средней трудовой интеллигенции периода первой мировой войны.

Помню одно Рождество. Мне семь или восемь лет. Мама тогда работала в «Земгоре» (объединенном комитете земского и городского союзов). Там работали большевики, меньшевики и, может быть, эсеры. У мамы были друзья во всех трех партиях, но особенно много среди меньшевиков. Для детей сотрудников устраивалась елка и, конечно, приглашались все курьеры — мальчики одиннадцати-четырнадцати лет. И вот, меня посадили среди этих мальчиков. Они, бедняги, совершенно не знали, о чем со мной говорить. Но это символизировало близость интеллигенции к рабочему классу. В то же время само собой разумеется, что моя няня не обращалась к маме по имени и отчеству, полагалось говорить «барыня». Когда в семнадцатом-восемнадцатом годах появилось слово «товарищ» — это было так прекрасно, и позднее были только товарищи — по школе, по лагерю. Поэтому, когда в «Мемориале» я впервые услышала «господа», мне стало не по себе. Я-то ведь родилась при «царе-батюшке». Хотя сейчас уже понимаю, что позднее стояло за словом «товарищ».

Елки на Рождество устраивались обязательно. Елка должна была быть до потолка и очень пушистая. Это были настоящие праздники! А Пасха в нашей семье не справлялась.

Чтобы не возвращаться больше к Земгору, скажу, что я часто бегала к маме на работу и помню четырех маминых друзей. Это Михаил Васильевич Буровцев, большевик, расстрелян в 1937 году. Вера Осиповна Корсак, меньшевичка, арестована очень рано, в 20-х годах, но когда я сидела в Бутырках в 1937 году, услышала там, что в одной из камер содержится Корсак Вера Осиповна. Любовь Владимировна Радченко, меньшевичка. Она каким-то образом уцелела и умерла своей смертью. Сейчас жива ее дочь — писательница Наталья Баранская. И четвертый — Михаил Исаевич Даринский, меньшевик. Арестован в 1925 году. Его судьба неизвестна — то ли расстрелян, то ли сгинул в лагере.

Летом 1914 года мы с мамой отдыхали в Юрмале. И вдруг разразилась первая мировая война. Помню паническое бегство отдыхающих. Купе и проходы в поездах были забиты до отказа. Пройти в

туалет было невозможно и, к моему смущению, все сидящие в нашем купе пользовались моим горшком. Другое воспоминание тех лет — огромные очереди за мясом. Я стояла с моей няней в этих очередях. Вместе с тем, несмотря на войну, летом мы с мамой ездили в Крым, в Судак, и в 1915, и в 1916 годах. Это были чудесные поездки до Симферополя или Феодосии на поезде, а потом на лошадях, на линейке. Ехали долго, проезжая одну за другой деревни крымских татар. Других деревень я и не помню. У населения покупали еду и разные тканые изделия местных умельцев. А умельцы такие были, наверное, в каждой семье. Ездили тогда со своими подушками, одеялами, простынями (в поезде не давали постелей). За линейкой тащилась еще колымага, вся загруженная багажом.

Когда мне было шесть лет, меня настигла первая любовь. На бульвар, куда мы ходили с няней гулять, приводили и мальчика Ваню (я его до сих пор помню). Он меня покори́л тем, что играл в куклы и сам шил для них платья. А я шить еще не умела.

Мама в Москве снимала квартиру в большом, как тогда казалось, четырехэтажном доме на Коровьем Валу — улице, соединяющей Серпуховскую и Калужскую площади. Тогда перед каждым домом обязательно был маленький палисадничек. Бульжные мостовые, газовые уличные фонари, их по вечерам зажигал фонарщик. Улица спокойная, редко-редко проезжал ломовой извозчик и уж совсем редко — извозчик с седоком.

В том же доме снимали квартиры многие мамы сотрудники. У нас была квартира из четырех комнат. Две из них мама от себя сдавала курсисткам сельхозакадемии (так называемые вечные курсистки). Они остались мамиными друзьями на всю жизнь. Другие две смежные комнаты занимали мы — мама, я и няня. Вместо двери между комнатами висела занавеска.

Мама была человеком общительным. У нее постоянно по вечерам собирались друзья. И я, лежа в своей кроватке, слышала все, что делалось в соседней комнате. А там собирались вокруг стола под большой керосиновой лампой «молния» и читали вслух Мопассана, Гауптмана, Гамсуна, Ибсена. Не помню никаких политических споров. Может быть, не понимала, была слишком мала. Но вряд ли после Мопассана переходили на политику.

Я рано научилась читать. Моим учителем был мой друг Славик. Мне пять лет, Славику — семь. Он оказался очень строгим учителем, и в шесть лет я уже бегло читала толстые детские книжки. Каждое воскресенье ко мне приходил отец и всегда приносил мне

какую-нибудь книжку. Тогда издавалась «Золотая библиотека» для детей. И вот, прочитав «Хижину дяди Тома», я стала навсегда интернационалистом, не столько по убеждениям, сколько по чувству, что ли. Так отец, сам того не подозревая, выработал первое мое мировоззрение.

Еще один эпизод военного времени. Многие дети — гимназисты и, особенно, скауты — ходили по городу (меня мама тоже отпускала со старшими детьми) и собирали в кружки пожертвования для раненых солдат.

1917 год. Демонстрации, демонстрации без конца. И я с мамой шла (правда, по тротуару) и несла маленькое знамя, на котором была надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Навстречу шла большая демонстрация работниц-текстильщиц, и я была очень горда, что работницы меня радостно приветствовали.

Но вот парадокс — я не заметила и не поняла, что в октябре произошла еще одна революция. Конечно, мне было всего восемь лет. Я понимала одно: при царе — и после революции. И людей я так делила: все революционеры — красные, а все сторонники царя — белые.

Помню, что в 1918 году в Москве был сильный голод. Хлеб с какой-то мякиной, я даже не знаю с чем, очереди стали еще длиннее. Тогда, так же как и сейчас, на работе у мамы выдавали какие-то продукты; потом, дома, их делили на всех живущих в этом доме сотрудников. В это же время у мамы открылась язва желудка и обострился туберкулез. Она всю жизнь им болела, вся семья наша вымерла от туберкулеза, кроме меня. И мама решила ехать на кумыс и мед под Уфу. Тогда кое-как можно было туда проехать.

Когда в партии стало известно, что мама едет в Уфу, ей дали поручение передать в тамошнюю тюрьму инструкцию, как держаться заложникам-большевикам, которых в тюрьме при Комуче содержалось человек двести, и, кроме того, передать личные письма женам Цюрупы и Брюханова. Ехать надо было через линию фронта. Маму снабдили документами на все возможные случаи. Эти документы спрятали на мне. А так как мои детские глаза были самые зоркие, то в мою обязанность входило издали различать, что за верховые едут навстречу — белые или красные, какие документы доставать. Возница предупредил: если увидим мелкие огоньки, значит, волки. Надо жечь бумагу и бросать в волков. Страшно было очень.

Но до Уфы добрались. Инструкцию в тюрьму мама передала через детей Брюханова (детей не брали в заложники), а мы поехали дальше, в деревню.

Из жизни там остались в памяти два эпизода. В нескольких верстах от деревни проходила железная дорога. И вот однажды мы наблюдали, как поезд чешских военнопленных прорывался в Европу, а навстречу ему пустили красный бронепоезд. Мы наблюдали этот бой с крыш домов. Снаряды тогда рвались высоко, намного выше вагонов. Чем закончился бой, я не помню.

Второе, что запомнилось. Большая, очень большая группа детей петроградских рабочих вместе с учителями была послана в эту же деревню. Их спасали от голода. С этими детьми я встречалась каждый день у реки, со многими подружилась. Они научили меня ловить рыбу. Особенно запомнилась одна девочка, которая часто говорила: «Я хочу стать балериной, я обязательно буду учиться танцевать». О дальнейшей судьбе этих детей я еще расскажу.

В этой деревне мама познакомилась со своим будущим вторым мужем. Его имя — Вашенблюд Константин Николаевич. Он был коренной уфимец, левый эсер. По профессии — инженер-гидротехник. Зимой мы переехали в Уфу и стали жить вместе.

В Уфе меня отдали в гимназию, в первый класс. Очевидно, это сделал Константин Николаевич. Посадили меня за первую парту. Одна парта, что меня поразило, стояла у боковой стены перпендикулярно к остальным. За ней сидели четыре девочки-еврейки. Дня через два после начала занятий в отсутствие учительницы одна из этих девочек спросила: «А почему Галя сидит с вами, а не с нами? Она ведь тоже еврейка.» Одна из моих соседок ответила: «Ну и что же, что еврейка, — она хорошая». На другой день я категорически отказалась идти в гимназию. Это был мой первый самостоятельный поступок в жизни. Так я эту зиму и не училась.

Может показаться преднамеренным, что я пишу о событиях, связанных в какой-то мере с революцией. Но ведь мое детство совпало с войной, революцией и гражданской войной. Запечатлелись события именно эти. Бытовые подробности жизни как-то почти не остались в памяти.

В Уфе переменялось правительство. Пришла армия Колчака. Перед этим, очевидно, выпустили из тюрьмы заложников-большевиков, так как мы потом некоторых встречали в Москве. Константина Николаевича, как местного жителя, все знали; он переменял документы, и я должна была запомнить, что отныне его фамилия — Антонов.

В один прекрасный день мне сказали, что мама на две недели уезжает в командировку. Сказался мамин бесстрашный и авантюрный характер: она поехала выполнять какие-то поручения левых эсеров (хотя и состояла в партии большевиков). Опять связная, но

-уже другой партии. Меня на это время поместили в семью эсера Веденяпина. Его самого не было. Видимо, ушел в подполье. Жена его и дочь лет восемнадцати жили в деревянном одноэтажном доме в трехкомнатной квартире. Обстановка — скромнее некуда: железные кровати, два стола, стулья, шкаф. Константин Николаевич заходил редко. Наверное, тоже скрывался. А мама не ехала и не ехала. При мне не показывали вида, что есть причины волноваться, но однажды я подслушала разговор, что в случае чего Веденяпины меня удочерят. Я тоже не показывала, что волнуюсь, никогда не плакала. (Впрочем, я не помню, чтобы я плакала когда-нибудь лет с четырех.) В нашей семье никогда не говорили о религии. Наоборот, когда мне было лет шесть, мама читала изложение теории Канта-Лапласа о строении и происхождении вселенной, а я сидела рядом, и мама пересказывала мне прочитанное. А тут вечером я утыкалась в подушку и твердила: «Боженька, сделай так, чтобы мама вернулась!»

Сейчас модно стало говорить, что надо вспомнить о Боге. Ну так я абсолютно неверующий человек, и в детстве была неверующей, но вот ведь был такой эпизод в моей девятилетней жизни.

Мама все-таки вернулась через два месяца. И тогда стал вопрос, что же дальше? Константину Николаевичу было опасно оставаться в Уфе. Ехать в Москву он боялся, и не напрасно. В Сибири и на Дальнем Востоке белые. Все же решили ехать во Владивосток. Правда, мама тешила себя надеждой, что уедет оттуда на пароходе вокруг Индии в Крым и дальше в Москву (тогда такие пароходы еще ходили).

Дорога для меня, ребенка, была страшная, да и для взрослых тоже. Мы ехали через территорию, занятую белыми. На некоторых станциях входили военные и приказывали то одному, то нескольким мужчинам выйти из вагона. Потом раздавались выстрелы, и люди не возвращались. Один раз вывели Константина Николаевича. Его не было несколько часов, но все же он вернулся. Видимо, документы были безукоризненные. Ехали по-разному. Иногда в вагоне третьего класса, с сидячими местами и со свечками в концах вагона. Иногда в теплушках. Помню, что на каком-то участке пятеро суток совсем нечего было есть, на станциях ничего не продавали. Наконец, маме удалось где-то купить бутылку молока. Но в той же теплушке ехала молодая семья, по одежде — рабочие: муж, жена и грудной ребенок. У женщины от голода пропало молоко. Маленький все время плакал. Тут я совершила второй самостоятельный поступок. Я отказалась пить молоко и сказала, чтобы отдали ребенку. И мама молоко отдала.

Наконец, Владивосток. Не знаю, чем показались подозрительны мои родители, но за нами все время ходили шпики. Уехали в Японию. Там мама оформила свой брак. Документ был написан на японском языке. Долго он у нас хранился, но после ареста моего мужа в 1936 году мама документ уничтожила. В Японии мы прожили несколько месяцев. Жили небольшой коммуной (наверное, эсеры, знакомые Константина Николаевича). Наняли повара-японца, и он готовил на всю коммуну. Чаще всего ели на обед рубец (коровий желудок) как самую дешевую пищу. На какие деньги мы жили, просто не знаю — никто не работал.

Япония тогда была совершенно другая, чем теперь. Все японцы ходили в кимоно, на ногах — деревянные гета. Редко-редко можно было встретить мужчину в европейском платье. Самый распространенный транспорт — рикши. Они бегали бегом, везя в двухколесной тележке одного, иногда двух человек. В домах на полу циновки из тростника. В дом можно было входить, только сняв обувь. Спали на полу, на ватных одеялах. И у каждого дома — маленький, просто крохотный садик с причудливыми карликовыми деревцами, иногда маленькие бассейны с золотыми рыбками. И чистота потрясающая!

Четыре японских слова я помню до сих пор: «коничева» и «сайнара» — «здравствуйте» и «до свидания» и «ука-сан» и «отоо-сан» — «госпожа мама» и «господин папа».

Осенью 1919 года вернулись во Владивосток. Мне уже было десять лет, и мне разрешалось ходить по городу одной. Больше всего времени я проводила у моря. Волна выбрасывала на берег морских звезд и крабов. Тогда же купили мне последнюю в жизни куклу — целлулоидного голыша. В Москве таких еще не было.

Во Владивостоке мы с мамой пробыли недолго. Мама все же решила пробиться в Москву (без Константина Николаевича).

Мы добрались до Иркутска, но дальше ехать мама побоялась. Ведь фронты. Мама поступила на службу и давала уроки сыну хозяйки, у которой мы снимали комнату. За это меня кормили обедом.

Письма от Константина Николаевича приходили. И вот однажды мама меня спрашивает: «Галя, поедем в Америку?». А мне что, «Поедем!» И мы двинулись назад, во Владивосток. Какая власть была в то время во Владивостоке, я просто не помню, помню только, что Константину Николаевичу было опасно там оставаться.

Но почему в Америку?

В Одессе после 1905 года судили эсеров и, в том числе, молоденькую террористку Марию Школьник. Все получили по двенадцать лет каторги. Школьник, не знаю с чьей помощью, бежала с каторги через

Берингов пролив в Америку. Там она закончила университет, вышла замуж за профессора Яроса (Ярославского) и вместе с ним и маленькой дочкой вернулась на родину. Но, осмотревшись, решила снова ехать за океан. Это был конец 1919 года. Встретившись случайно с Константином Николаевичем, она и его уговорила, пока суд да дело, перебраться в Америку. Вот мы и поехали.

Америка

Ехали мы, понятно, в третьем классе. Океан! Это ни с чем не сравнимое зрелище. Мощь и красота. Но об этом пусть пишут писатели. У меня не находится слов для описания этого чуда. Морской болезнью мы не страдали и все время проводили на палубе.

Прибыли в Ванкувер. Медосмотр. Нам выворачивают веки. Америка тогда очень боялась трахомы. Потом через всю Америку — в Нью-Йорк. По приезде у нас оставалось всего 5 долларов. Первые несколько дней мы прожили у Марии Школьник, а потом перешли в пансион. Но там мы удержались всего несколько дней. Мама сразу нашла работу на швейной фабрике, а Константин Николаевич на тяжелую физическую работу не мог отважиться: он был болен эпидемией. В Соединенных Штатах считается неприличным, если работает жена, а не муж, — и нам отказали от квартиры. Сняли комнату. Наконец, Константин Николаевич устроился копировщиком в какую-то контору.

А я поступила в школу. Думаю, что и тут не обошлось без помощи Марии Школьник. Школа была частная, очень дорогая и по тому времени прогрессивная. Правда, черных ребятишек в ней не было, но одна японочка училась. Она была из состоятельной семьи. Ее звали Фудзи.

В Америке и тогда была принята благотворительность, и в моей школе 25 процентов детей учились бесплатно. В том числе и я. Преподавание велось по так называемому Дальтон-плану. Это вот что такое: учеба строилась по кабинетной системе — кабинет истории, кабинет математики и т.д. И в этих кабинетах на стене висели задания на месяц для всех классов. Дети сами решали, когда и каким предметом заниматься и, выполнив месячное задание, подходили к учителю, показывали письменные работы и отвечали на устные вопросы. Таким образом, ребятишки приучались с раннего детства заниматься самостоятельно. (Мне повезло, потому что в первое десятилетие советской власти в некоторых московских школах применяли тот же метод. И, вернувшись в Москву, я продолжала и дома учиться по этому методу.)

Приехали мы в Нью-Йорк в середине зимы, и сначала я делала в школе что хотела, главное — привыкала к языку. А уже со следующего года меня каждый год переводили через класс. В результате английскую грамматику я так и не знаю, а по арифметике пропустила дробь, которые усвоила уже в Москве, когда проходила алгебру.

Америка! Конечно, нас потрясло ее богатство. Мы приехали в страховочных ботинках и мадаполамовом белье. А здесь уже носили хлопчатобумажное трикотажное белье, ну и все остальное — соответственно.

А Нью-Йорк! Море света по вечерам, бегущая реклама, реклама прямо в небе, неизвестно на чем держащаяся. Небоскребы в центре (самое высокое здание тогда было в пятьдесят семь этажей, теперь — более ста). Здание газеты «Таймс» — сорок этажей. Но зато летом и жарко... От каждого дома пышет жаром.

Мы жили в районе Бронкса. Теперь в Бронксе живут выходцы из Южной Америки, а тогда там жили русские евреи, бежавшие от погромов после провала революции 1905 года. Мама и Константин Николаевич оказались неспособными к языкам. Мама работала на еврейской фабрике, и так как она, будучи русской, не знала еврейского, а английский освоить не смогла, вскоре весь конвейер заговорил по-русски (вспомнили).

Сейчас я не могу сопоставить цены. Мама зарабатывала восемнадцать долларов в неделю. Но и метро (subway) стоило пять центов, а маленькая шоколадка из автомата в метро всего один цент. Теперь проезд в метро стоит, кажется, доллар с четвертью.

Занятия в школах проводились пять дней в неделю, а рабочие и служащие в субботу работали только до двенадцати часов дня.

Через некоторое время мы сняли квартиру из четырех комнат. Две комнаты сдавали, в двух жили сами. Мебель взяли в кредит. Каждую субботу приходил агент и собирал взносы — по пять долларов в неделю. Но часто у нас и этих пяти долларов не было, и на мою долю приходилась неприятная миссия открывать дверь агенту и говорить, что родителей нет дома, а у меня нет денег.

Так само собой сложилось, что вся тяжелая работа по дому падала на меня. На фабрике, где труд настолько интенсивный, что если из прически выпадет шпилька, то до обеденного перерыва ее и поднять нельзя, а иначе не выполнишь норму, мама очень уставала. А Константин Николаевич вообще не мог выполнять никакой тяжелой работы. Так что я с десяти с половиной лет стирала все белье, гладила (на прачечную у нас, видимо, не хватало денег), убирала квартиру, ходила за покупками. Мама только готовила. Особую не-

приятность доставляли мне мужские рубашки. Они тогда еще были хлопчатобумажные и требовали тщательной утюжки. А в Америке мужчины меняют рубашки ежедневно, иногда и по два раза в день. Покупки же труда не составляли — магазины кругом. А молоко, хлеб и лед для холодильного ящика (холодильников еще не было) доставляли на дом продавцы (мальчики).

Вообще же я была предоставлена сама себе. Некому было мною заниматься. Я много бродила по Нью-Йорку. Ходила в парки, в порт, в музеи. Все это было вполне безопасно. Действовал введенный тогда «сухой закон» — спиртное не продавалось, наркотиков еще не было.

Особо хочется сказать о главном музее Нью-Йорка. Такого богатства экспонатов я не видела нигде. Особенно египетский отдел. Много залов. Казалось, Америка вывезла к себе всю египетскую старину. Но раздражало, что на каждом экспонате тогда была выставлена цена. В русском зале запомнилась Шапка Мономаха и на ней этикетка — «300 000».

Константин Николаевич после недолгой работы копировщиком (по профессии он был инженером) устроился приказчиком или продавцом в русский книжный магазин. Он оказался довольно способным коммерсантом, выкупил этот магазинчик и стал его хозяином. Магазин был на одного продавца. Иногда мне приходилось заменять Константина Николаевича. Правда, покупателей было мало, и часто я просто сидела и читала русскую литературу.

Друзей мы не завели, но были две семьи, с которыми мы изредка встречались. Одна — мать и дочь Мириманьянц. Мать в России была начальницей частной женской гимназии. Они эмигрировали в восемнадцатом-девятнадцатом годах. Здесь обе работали на картонажной фабрике, и силы их были на исходе. Другая семья — Слуцкие. Это эмигранты примерно 1907 года. Муж уже стал небольшим профсоюзным боссом, жена не работала. У них были две маленькие девочки: Ноэми и Фейгеле. Летом они снимали дачу на берегу Атлантического океана. И вот мама договорилась, что по окончании школьного года они и меня возьмут с собой. За лето, живя у них, я сильно продвинулась в английском и научилась немного болтать на идиш. Две зимы я отработывала этот мой отдых: по дороге в школу заезжала за старшей девочкой и отвозила ее в детский сад, мне к одиннадцати годам полностью доверяли ребенка.

Два следующих лета я провела в детском лагере. Опять благотворительность. Несколько студентов и студенток собрали деньги, организовали строительство лагеря на тридцать детей и сами же

были в нем воспитателями. При лагере был плавательный бассейн. А сам лагерь расположен в лесу. Однажды мне захотелось испытать себя, и я попросила разрешения уйти одной в лес на ночевку. И мне разрешили. Трудно себе представить такое в нашем пионерлагере. Вообще-то, было безопасно. Волки не водились. Единственное, чего я боялась, это чтобы ко мне не повадился скунс: рассердившись или испугавшись, он может окатить невероятно вонючей струей.

Моя жизнь в школе и лагере складывалась вполне благополучно. С ребятами и учителями у меня были хорошие отношения. Я ведь общительный человек. Но все это в пределах школы и лагеря. За три года жизни в Америке никто никогда не пригласил меня к себе домой и я никого не приглашала. Все-таки мы очень разные. Такой потребности просто не возникало. Нам вне школы не о чем было говорить. Так что я три года провела в полном одиночестве. А разница заключалась, наверное, в следующем. Я в двенадцать лет прочла уже «Братьев Карамазовых» (кстати, на английском), а мои сверстники читали популярные детские книжки и комиксы.

Американские дети очень самостоятельны. Они решают все свои вопросы по собственному разумению. Рано начинают подрабатывать. Например, я знала семью американского профессора математики. Жена — преподаватель музыки, старшие дети (17 и 18 лет) уже жили отдельно и работали, чтобы иметь деньги на обучение в колледже. Младший, двенадцатилетний, тоже подрабатывал — ловлей змей (наверное, ядовитых), которых он потом продавал своим школьным товарищам.

Дети очень раскованные, говорят и делают что хотят. Им не приходится спрашивать разрешения родителей, если нужно куда-либо пойти. Они просто ставят их в известность.

В Нью-Йорке мы слушали Шаляпина. Впечатление ни с чем не сравнимое. Но и цены тоже. У нас были стоячие места на самой верхотуре (пятый ярус), а цена одного билета — 5 долларов (это при наших-то доходах!).

Последнее лето в Америке. Мама уже совсем изнемогла на фабрике и решила уйти с работы и на лето открыть русский пансионат на берегу Атлантического океана. Сняла помещение, наняла повариху-негритянку, научила ее варить щи, борщ, печь пироги. Пансионат имел грандиозный успех и был все время полон. Помню одну из постоялиц — некую Минкину. Как оказалось, это бывшая жена Азефа. Старший сын Азефа, четырнадцатилетний мальчик, узнав о провокаторстве отца, пытался повеситься. К счастью, его успели вынуть из петли. И вот эта женщина, забрав двух

детей, уехала навсегда в Америку. Младший сын, которому при отъезде было лишь пять лет, стал настоящим американцем. Старший (когда мы встретились, ему было двадцать шесть лет) все переживал трагедию и боялся жениться, боялся, что его сын или дочь унаследуют качества деда.

А теперь о тех ленинградских детишках, которых мы встретили под Уфой. Америка падка до сенсаций. В один прекрасный день все газеты запестрели заголовками: «Русские дети в Америке!» Оказалось, что тех детей каким-то образом довели до Америки. Америка не хотела их возвращать. Шли многочисленные письма матерей с просьбой отдать детей (это все печаталось в газетах). И наконец, французы, кажется, помогли разрешить эту драму, и дети отплыли в Россию. (Кстати, примерно год назад по телевидению об этом рассказывали и показали маленький фильм, снятый в ту пору.) Тогда же в журналах и газетах Америки печатали страшные материалы о голоде на Волге, фотографии погибших от голода детей.

Тем не менее, мама и я жили только мыслями о доме. Константин Николаевич, сделав убыточный магазинчик прибыльным, продал его, и на эти деньги осенью 1922 года мы отплыли в Гавр. Увы, нам пришлось оставить фирме всю мебель, так как к моменту отъезда она не была еще оплачена полностью. Так что ехали мы налегке. Можно сказать, в чем были. Восемь дней мы провели в Париже. Всю неделю на пароходе мы с мамой к этому готовились. Ни она, ни я не знали французского языка, и в пути все время зубрили самоучитель.

Французы оказались удивительно дружелюбными. Насмеявшись вдоволь над нашим произношением, они показывали нам, как пройти к нужному музею. Мы многое успели посмотреть, но однажды получился конфуз. Стоя на площади Бастилии, мы упорно пытались узнать, где же сама Бастилия. Вот что значит не знать историю. Оказалось, тюрьма-то снесена!

Из Парижа мы двинулись в Берлин. В Берлине было наше посольство. И начались наши хождения по мукам. Мама подала заявление о предоставлении ей и мне советского гражданства. И, кроме того, стала писать по старым московским адресам, разыскивая моего отца. Наконец нашла и написала ему, что, если он не добьется для нас гражданства, мама вместе со мной пойдет нелегально через границу. Гражданство мы получили. Отец действовал через Лозовского. Кем тот был в 1923 году, я забыла. Кажется, впоследствии его расстреляли. Мама не знала одного: пока мы кочевали, отца исключили из партии и он стал беспартийным спецом.

Берлин

Очень жаль, но об этом периоде своей жизни я, пожалуй, меньше всего могу рассказать. Дело в том, что здесь я наконец встретила сверстниками — детьми эмигрантов. Поэтому разговоры взрослых я, к сожалению, слушала мало. Круг знакомых — меньшевики и эсеры (в основном эмиграция уже 1919 года) и, соответственно, их дети. Из них я помню только двух-трех. Был неприятный, самовлюбленный юноша шестнадцати лет, один из сыновей Леонида Андреева. Еще — моя ровесница, младшая дочь лидера правых эсеров Виктора Чернова, Ариадна (Ада); пока мы жили в Берлине, она была моей лучшей подругой. Иногда в молодежной компании бывал шестнадцатилетний князь Шаховской. Он впоследствии стал шофером такси в Париже.

В Берлине мы встретили родственников отца. Второе поколение богачей Молдавских оказалось меньшевиками. А Бальбина Даниловна Гурьян, уже очень пожилая женщина, видимо, имела какие-то сбережения за границей. Она эмигрировала с младшей дочерью Люсей, когда той было шестнадцать лет. Люся старше меня на пять лет, то есть в Берлине ей было восемнадцать. Это моя троюродная сестра. Она рассказала мне, что мать вывезла ее в Германию, узнав, что Люся влюбилась в комиссара. Люся успела закончить университет и уехать в Палестину до прихода Гитлера к власти.

Другая группа эмигрантов — монархисты, в том числе княжеские и великокняжеские семьи. В этих кругах, судя по их газетам и разговорам, шли споры и дразги, кому править в России. Тогда было два претендента на престол. Дядя Николая II и еще кто-то. Сейчас, после торжественного приема великого князя Владимира Кирилловича в Санкт-Петербурге, что-то переборщили с легкомысленно-ироническими отзывами о тогдашних баталиях. Они шли на полном серьезе (хотя среди меньшевиков и эсеров над ними посмеивались).

Зимой мы с Адой Черновой решили ходить на лекции Айхенвальда. Профессор читал раз в неделю, темой его лекций был Пушкин. Конечно, содержания я не помню. Я помню его самого — сутулый, худой, пожилой человек. Во время лекций читал много пушкинских стихов протяжным, размеренным голосом. Слушателей всегда было порядочно, человек двести-триста молодых эмигрантов. И слушали очень внимательно, при идеальной тишине в аудитории.

В Берлине в ту пору была сильная инфляция, и поэтому на наши доллары мы могли как-то существовать. Помнится, женский велосипед стоил всего один доллар, но мне не купили. Экономили деньги. Там я впервые познакомилась с искусственным маслом, вроде жидкого маргарина. Видимо, немцы первые его изобрели.

В городе кем-то был организован клуб для эмигрантских подростков. Я тоже ходила в этот клуб. Помню, там издавался журнал «Дети — детям». В этом журнале основной темой были зверства большевиков по отношению к детям. Не верила я ни одному слову, и, хотя читала этот журнал, мне было тошно. Споры среди подростков, конечно, возникали. Но помню только свое настроение. Оно было совершенно четкое. Эсеры — партия крестьянская, а крестьяне на ведущую роль в преобразовании общества не тянут. Меншевики? Но я знала стихотворение Горького, кажется, из «Дачников»: «Медленным шагом, робким зигзагом марш, марш вперед, рабочий народ». Поэтому без посторонних воздействий мой выбор был определенный: только большевики смогут сделать что-то реальное для всеобщего счастья.

Итак, мы уехали. А Константин Николаевич остался. Потом он перебрался в Чехословакию, принимал участие в Сопротивлении и получил чешский орден. Умер на чужбине.

Дома

Наконец пограничный столб — и мы дома! Мама не может сдерживать слезы. Они бегут и бегут. Таможня. У нас с собой было какое-то количество книг и журналов, изданных в Берлине. Но таможенники оказались вполне по-человечески сговорчивы и все пропустили.

Это было лето 1923 года. Нэп. Жить нам, конечно, нигде. Сначала на несколько месяцев нас приютила Екатерина Львовна Шейнман, старая мамаина приятельница, которая тоже отсутствовала в Москве несколько лет — она юрист и была нашим торгпредом сначала в Германии, потом, кажется, в Австрии. Теперь вернулась и работала где-то юрисконсультком. Следующие несколько месяцев мы жили у Александры Николаевны Покровской — одной из тех курсисток, которые когда-то снимали у нас комнаты. Вот время было! Люди не боялись давать приют бывшим эмигрантам. Месяцев через восемь-девять удалось за три червонца (фактически взятка) получить комнату в коммунальной квартире в Борисоглебском переулке. Ее бывший хозяин навсегда уехал из СССР, а большая барская квартира была разделена многочисленными фанерными перегородками на восемь комнатушек. Жильцов человек восемнадцать-двадцать. В кухне одна раковина и бесчисленные примусы. На всех один туалет. Керосин покупали в лавке, размещенной в ближайшей церкви, где иногда на двери вешали объявление: «Керосина нет и неизвестно». Три комнаты занимали трое братьев с семьями, работали они в ГПУ. Ну и подонки были!

Мама довольно долго была без работы, состояла на бирже труда. Помогал отец. Он давал нам шесть червонцев в месяц, и этого, в общем-то, хватало на скромную жизнь. Наконец мама получила первую работу — в «Крестьянской газете». Она должна была на узких полосках белой бумаги писать от руки адреса подписчиков и, скатав газету, обклеивать ее полоской. Вот такая механизация. А потом, так как мама во время войны работала сестрой милосердия в госпитале, она устроилась медсестрой в поликлинику, где и проработала всю жизнь.

(Через год после нас вернулась в Москву и Мария Школьник. Как американскому специалисту по дошкольному воспитанию ей выделили отличное помещение на улице Воровского, целый большой особняк, кажется, Саввы Морозова. Там в детском садике она проработала много лет заведующей. Вступила в партию. Умерла своей смертью. Муж ее преподавал в каком-то вузе.)

Я же пошла в школу. Предварительная подготовка у меня была весьма посредственная. Я больше ездила, чем училась. Пошла я в шестой класс. Надо бы в седьмой, но знаний явно не хватало. Моя первая школа называлась «Школа эстетического и гармонического воспитания ребенка». Размещалась она на Смоленском бульваре. Руководила школой Наталья Сац, которой тогда было двадцать три года (на девять лет старше меня). Что же это была за школа? Предметы были любопытные: пение, живопись, восприятие и отображение музыки в движениях, пластика, ритмика, балетный станок, акробатика и общеобразовательные предметы. Придя в школу, мы переодевались в хитоны до колен, носки, тапки. И так — до позднего вечера. Учителей полагалось называть тетя Таня, дядя Сережа — даже пожилых. Только директора, Наталью Ильиничну, следовало величать по имени и отчеству. Какие только эксперименты не ставились в первые годы советской власти! Из этой школы я через год сбежала и перешла в ту, где преподавали по Дальтон-плану.

А Наталья Сац встретила меня еще раз в жизни. Через Темняковский лагерь, в котором я сидела, куда-то везли и Наталью Ильиничну. Все дороги у нас в стране сходились в ГУЛАГе.

Может быть, не надо подробно о школах, но если позднее мой сын, а потом и внук терпеть не могли свои школы, то мы свою любили.

Итак, следующая школа называлась 1-я опытно-показательная школа МОНО и помещалась в Леонтьевском переулке.

Состав учащихся: с одной стороны — младший брат Свердлова Герман Свердлов, племянник Каменева Борис Розенфельд, сын редактора «Известий» Володя Стеклов, сын Троцкого Сергей Седов,

дети Рютина Михаил и Люба, Глеб Смидович и еще какие-то кремлевские ребята. С другой — детдомовцы, бывшие беспризорники. Их тоже было много. Ну, и дети средней трудовой интеллигенции.

В школе самоуправление. Существует учком. Два члена учкома входят в педсовет с правом решающего голоса. Естественно, комсомольская ячейка. Очень маленькая. Например, в моем классе было, кажется, всего три комсомольца. И в комсомол принимали действительно наиболее активных ребят.

Учителя: директор школы, Волынская, — в прошлом эсерка; преподаватель обществоведения, — похоже, в прошлом меньшевик, математик — бывший царский офицер. Преподаватели, в основном, — мужчины.

Заправляли в школе детдомовцы. И в учкоме, и в комсомольской ячейке их слово было решающим. Ребята были золотые. Кого ни вспомню — на душе делается приятно. Из остальных ребят выделялась Люба Рютина — очень смелая и прямая девчонка. Когда я кончала школу, ей было четырнадцать лет. Она была еще пионерка. А выступала на собраниях как взрослая и без шпаргалок. Славный очень паренек был Борисик Розенфельд, веселый, общительный, очень музыкальный. Ни одно сборище без него не обходилось. Хоть я о нем помяну, больше некому: родители расстреляны, и сам он расстрелян в 1937-м.

Вот я держу в руках фотографию своего класса, всех нас было в классе тридцать человек:

Боря Окунев — погиб в лагере,

Вера Шипова — погибла в лагере,

Володя Стеклов — 10 лет ИТЛ + 8 ссылки (и вся семья погибла в лагере),

Глеб Смидович — 10 лет ИТЛ + 8 ссылки,

Шура Микини — 10 лет ИТЛ + 8 ссылки,

Валя Щербаков — отец расстрелян, мать в лагере,

Таня Поляк — два мужа расстреляны, как она уцелела, просто чудо,

Лида Лейтейзен — брат расстрелян,

Лева Цукерберг — после одного вызова в НКВД положил голову под колеса поезда...

Ну и я — обо мне эти записки. Может быть, и еще кто-то, с кем я не была так близка. Не знаю.

В школе никакой казенщины. Любители поэзии запросто заезжали домой к тогдашним поэтам и просили выступить в школе. И поэты приезжали: Уткин, Жаров, Безыменский, Кирсанов.

На вечера Маяковского мы прорывались всем классом. В зрительном зале всегда находились его противники, и было очень интересно слушать, как остроумно он от них отбивался.

Мы много бегали на лекции в МГУ. Диамат читал Парадизов, совсем молодой, но до чего же интересно читал! Погиб, наверное. Слушали лекции о мещанстве, о теории относительности, но это уже в Политехническом.

А театр! Школьникам и студентам давали контрамарки на свободные места за полтинник. Любимейший, конечно, Мейерхольд. Бегали и к Таирову, и в маленькие студии. В Художественном тогда шли «Дни Турбиных» с первым составом — молодые Хмелев, Прудкин, Яншин. Потом, когда состав сменился, спектакль превратился в штамп.

Ну, и для коньков оставалось время. И учились хорошо. Учебников истории тогда для школы не было. Учились по вузовским. Теорию эволюции видов, которую позднее мой сын и не нюхал, изучали целый год. Дарвин, Мендель, Де Фриз, хромосомная теория наследственности. На Достоевского было отведено полгода. Но вот что странно, а может быть, и не странно, а закономерно. «Бесы» воспринимались не как пророчество на будущее и не как предостережение современникам. Эта сторона произведения просто не доходила до сознания. Мечта о светлом будущем затмевала все.

Был один предмет, преподававшийся обычным методом — в виде уроков. Это политграмота. Вела его совсем молоденькая девушка в кожаной куртке, кожаной кепке, ну прямо комиссар из «Оптимистической трагедии». Учебник страниц на четыреста-пятьсот. Первая половина — это съезды партии до XIII включительно (о XIV съезде мы читали в газетах). И вторая часть книги — избирательная система, а она была очень сложная. Перечислялись там и все категории «лишенцев». Вот бы достать сейчас этот учебник. Может быть, он где-нибудь и сохранился?

И еще одно воспоминание тех лет. 1926 год. Я еду на задней площадке трамвая по Никитской (потом улица Герцена) и смотрю в окно. Трамвай останавливается; останавливается, как положено, и автомобиль, чтобы дать возможность пассажирам трамвая выйти. Машина открыта. Рядом с шофером сидит Сталин. Он без фуражки. На заднем сиденье два незнакомых лица — наверное, охрана. Но машина одна. Никакой дополнительной охраны нет. Даже в глаза друг другу посмотрели. (А через десять лет в переулке, где мы жили, были установлены два поста — один милиционер и один штатский. Каждое утро к школе напротив нашего дома подъезжала крытая машина и привозила Светлану Сталину и Светлану Молотову.

Сзади шла машина с охраной. Чуть позже — еще две машины. В первой сидел Василий Сталин, следом опять охрана. Вот как все переменялось.)

Взрослая жизнь

В 1927 году я закончила школу. А вот что делать дальше? После гражданской войны много молодых рабочих и крестьян, оставив винтовки, потянулись учиться. После ускоренного четырехлетнего рабфака с условной программой средней школы вся эта масса желающих учиться принималась в институты без экзаменов. Для окончивших нормальные школы почти не оставалось мест. Выходом из положения было пойти сначала на два-три года на производство и, получив статус рабочего, поступать в институт. Очень многие так и делали.

Вот в этот период, пожалуй, и начались привилегии. Школьники из семей крупных партийных лидеров в институты все же принимались. Я тоже поступила в университет «по благу»: в то время ректором Московского университета был Вышинский. Вот я и поступила. Но совсем не на тот факультет, на который хотела. Тогда мы все увлекались экономикой. Видимо, по той же причине, что и сейчас. Я держала экзамены в экономический институт и в университет на юридический факультет, на отделение экономического права. А меня приняли на этнографический факультет. Очень скоро я поняла, что этнография — не мое дело. Бросила университет, закончила чертежные курсы и пошла работать. Стала чертежником, потом техником в проектно-институте.

Жили все в то время по большей части в коммуналках. Одну коммуналку я опишу. Квартира из четырех изолированных комнат, длинный коридор, в конце — кухня и туалет. Умывались в кухне. Теперь по порядку. В первой комнате жила Мария Дмитриевна Смирницкая, мамина приятельница. Она была ученым секретарем не то филиала Академии Наук, не то просто какого-то научного института. Вторую комнату занимали два брата, топограф и студент. В третьей комнате — А.Н.Покровская — та самая «вечная курсистка», приоткрывшая нас с мамой, и, наконец, в четвертой обрелся некий Корнелий Павлович, бухгалтер и одновременно студент консерватории по классу пения. С ним жил девятнадцатилетний Сережка, тоже студент консерватории. В этой комнате время от времени происходили скандалы на почве ревности, и тогда Сережке приходилось прятаться в кухне или у кого-нибудь из жильцов. Сережка красил губы и носил на шее белый бант. Со временем он стал знаменитым певцом.

Вот так и жили. Вся Москва. Впрочем, не вся. Мы часто большой компанией бывали у нашего одноклассника, Володи Стеклова. Они жили в Кремле. Тогда вход в Кремль был по пропускам. Отец звонил на проходную и давал распоряжение пропустить в Кремль друзей сына. Так вот, у них была пятикомнатная квартира: Володина комната, комната его сестры, комната матери, кабинет отца и столовая. Мебель старинная, видимо, бывшая дворцовая. (Вот я вспомнила и еще об одной привилегии.)

Тем не менее, при всей скромности нашей жизни мы каждое лето ездили отдыхать.

1925 год. Мне шестнадцать лет. Мама решила съездить в Чехословакию повидаться с Константином Николаевичем. Это тогда было очень просто. Подали заявление в Моссовет и получили визы. Я пробыла в Чехословакии два месяца и одна вернулась в Москву, в школу. А мама прожила в Чехословакии полгода. Ехать мне надо было с пересадкой в Берлине, а потом пересечь «польский коридор», проехать Литву и Латвию. Всего шесть границ. О Чехословакии писать не буду. Просто не помню ничего особенного. А про улицу алхимиков и другие достопримечательности написано достаточно. А вот как ехала домой, напишу.

В Берлине я переночевала у каких-то знакомых, кое-что купила и отправилась на вокзал. Меня обрадовало, что в мое купе сел человек, который прощался с провожающими по-русски. Так что подумалось — в случае чего поможет. Проехали несколько границ, все шло нормально, обедали вместе с моим попутчиком в вагоне-ресторане. Но он, уже не очень молодой человек, решил мне рассказать про злачные места Парижа. Смутиться-то я не смутилась, но все же это было лишнее. И я ему прямо сказала, что мне еще только шестнадцать лет, и попросила воздержаться от дальнейших рассказов. Наконец, Латвия. И вот тут произошел казус. В вагоне оказался русский человек, у которого была виза до Москвы, а билет только до Риги и никаких денег. Рига его не принимала, так как виза была транзитная, а поездная бригада отказывалась дальше везти без билета. Ну, что делать? Отдала я ему все мои деньги и от Риги ехала голодная. Правда, ума хватило не дать ему мой московский адрес для возврата денег. Приехала в Москву с одним пятаком на трамвай, и сразу к отцу — за деньгами. Прожила я одна без мамы месяца четыре, но жила не у отца, а дома. Сама себе хозяйка.

Год 1926-й. Мама предложила моим одноклассникам поехать на юг, в Хосту, и жить коммунальной. Набралось восемь или десять человек. Сняли школу. Здание было окружено большой террасой. Разде-

лили ее простыней и спали так — мальчики с одной стороны, девочки — с другой. Соблазнили поехать с нами повариху тетю Полю — ей очень хотелось увидеть море. Чтобы ей не приходилось таскать продукты, мы каждый день попарно ходили с ней на базар. И брали ее с собой купаться.

Когда я закончила школу и сдала экзамены в вуз, мы с мамой поехали в Новгород-Северский. Ехали так же, как и раньше, таща с собой тюки с постелью. Сняли комнату с пансионом в семье священника. Продуктов изобилие. И в городе великолепная библиотека, видимо, в свое время конфискованная у местных богачей. Зять хозяев работал в потребительской кооперации. Мне тогда и в голову не могло прийти, что священнослужители уже и в ту пору подвергались интенсивным репрессиям.

Теперь об университете. Как я уже говорила, этнография меня никак не увлекла. Но все же я два года продержалась. Интересны были лекции и семинары профессора Рубина по политэкономии. (И вот, месяца два назад через мои руки прошел его опросный лист. Тоже погиб человек, расстрелян.) Хорош был и Петр Федорович Преображенский. Он читал курс «Развитие общественных форм». Кажется, тоже погиб.

Студенты, как правило, нагружались какой-нибудь общественной работой. Я преподавала на фабрике карандашей концессии Хаммера. Много рабочих в то время еще оставались почти неграмотными. Я учила их четырем действиям арифметики. А русский язык вела старая женщина из политкаторжан.

Троцкистские демонстрации 1927 года как-то прошли мимо меня — подготовка к поступлению в вуз, экзамены. Думать о чем-нибудь другом просто не оставалось времени. Я и не думала.

Прошло еще два года. Позади два курса университета, чертежные курсы, и я работаю. Не помню точно, когда с питанием стало хуже, в 1929 или в 1930 году. Тогда и появились закрытые распределители для элиты. Мой отец, работая в ЦИКе, тоже был прикреплен к распределителю, но рангом пониже. Карточки ввели в Москве примерно в это же время. Очереди стали длиннющие, но по молодости лет у меня хватало сил не обращать на это внимания.

Тогда же я вышла замуж. Мой первый муж оказался человеком неинтересным, и года через два мы разошлись. Писать о нем не буду.

Мне двадцать один год. Как я уже упоминала, я поступила работать в проектный институт. Проектировали мы строительство канала Москва — Волга. Первоначально это был гражданский проектный институт, но вот в конце 1930 года нам объявили, что наш

институт переходит в ведение НКВД. Однажды к нам приехал Лазарь Коган, назначенный управляющим этим строительством, и сообщил, что проектный институт переводится в город Дмитров — это примерно посередине канала. Он произнес зажигательную речь о том, что мы будем рядом со стройкой, своими глазами увидим, как воплощаются наши проекты, сможем по ходу работ вносить коррективы и т.д. Однако он не обещал нам особых благ. Жилье мы получим деревянное, семейным выделяют по отдельной комнате, а молодежь поселят вместе, по три-четыре человека. Московская площадь бронировалась.

Состав проектного института был молодой. Начальнику института — Александру Николаевичу Комаровскому — всего тридцать три года. Были люди и постарше. Но средний возраст инженерного персонала — примерно двадцать восемь-тридцать лет. Поработать на стройке, и при этом недалеко от Москвы, всех прельщало. И поехал практически весь проектный отдел.

Электрички тогда не ходили. До Дмитрова добирались на обычном поезде. Дорога в один конец занимала два с половиной-три часа. Приехали, разместились. (Потом выяснилось, что эти дома, в которые нас поселили, разобрали на Беломорканале и вновь собрали в Дмитрове.)

Поселок, для нас построенный, находился в 300-400 метрах от канала, здесь же проектный отдел и клуб. Где-то дальше — жилая зона заключенных. А город Дмитров в стороне. Дома сотрудников НКВД тоже где-то поблизости от нашего городка, но, откровенно говоря, я туда ни разу не ходила. Для сотрудников проектного отдела был построен магазинчик, где мы «отоваривали» карточки, а где и чем отоваривались НКВДисты, никто не видел — у них был свой распределитель. Служащие проектного института не смешивались и не общались с ними. Разве что во время торжественных заседаний перед 1 Мая и 7 Ноября мы сидели в общем клубе. Но даже и тогда жен сотрудников НКВД и женщин, служащих в органах, можно было узнать. Они все как одна приходили в красных шелковых косынках.

Общество состояло как бы из нескольких прослоек.

Сотрудники НКВД и их семьи. Начальник лагеря Семен Фирин и начальник строительства Лазарь Коган — каждый в отдельном коттедже. Их жены жили в Москве и только изредка приезжали к мужьям. Насколько я знаю, в эти коттеджи иногда приглашали кого-нибудь из молодых женщин-москвичек. Это не афишировалось. Так или иначе, сотрудники НКВД — это была особая категория.

Далее — инженерно-технический персонал. Мы, москвичи — инженеры, техники, чертежники и т.д. Затем инженеры, отбывшие срок на Беломорканале (часть их работала непосредственно на стройке, часть — в проектно-отделе). Некоторые из бывших заключенных даже имели ордена. Кроме того, были и инженеры-заключенные. (В частности, за соседним со мной столом сидела молодая женщина-архитектор, лет двадцати пяти, только недавно получившая срок.) «Домами» эти категории не общались, разве что непосредственные соседи. Здесь существовала тонкая, почти незаметная грань.

Ну а строители? Только заключенные. Странно, но мы никогда о них не говорили. Почему? Может быть, действовал инстинкт самосохранения, боялись доносов? Ну, может быть, в какой-то степени. Но вообще, вряд ли. И ведь никто, никто не уехал со стройки, а это было вполне возможно — никаких препятствий.

Что думали те из москвичей, которые умели думать, не знаю. Они своих мыслей девчонке-технику не открывали. А другие? Пожалуй, к этим другим отношусь и я, поэтому я напишу о своем тогдашнем представлении о происходящем.

В те годы шли спектакли и кинокартины о перековке уголовников. Стало быть, считалось и, наверное, так это и было, что какая-то часть заключенных — просто уголовники. Затем кулаки. Что это категория людей безусловно вредная — в нас уже было воспитано. Кого зачисляли в кулаки, я только теперь, по нашим анкетам, хорошо узнала. Пример: семья — отец, мать, незамужняя сестра отца, бабушка и восемь детей. Имущество — дом, лошадь, корова. Считались кулаками. Ну и, наконец, какое-то небольшое число политических. Здесь тоже особых вопросов не возникало. Каждая власть, как известно из истории, своих противников изолировала. Почему же советской власти не прибегать к тем же методам? Так что в целом наличие заключенных казалось закономерным. О том, что в тот период основную массу з/к, скорее всего, составляли просто крестьяне-единоличники, отказавшиеся вступать в колхозы, я, во всяком случае, представления не имела. Москвичи, так же, как, вероятно, и ленинградцы, понятия не имели о методах проведения коллективизации. Это совершенно точно. В газетах ничего о том не писали, другой информации тоже не было. Сама же коллективизация воспринималась положительно. Большие хозяйства рентабельнее, и вместо плуга — трактор!

Вот мы и жили спокойно, особенно не задумываясь о происходящем. Сочувствие вызывали лишь отдельные личности.

Например, в 1926 году был арестован мамин друг, Даринский, бывший меньшевик, который никакой политической работой не за-

нимался. Он исчез навсегда. Несколько позднее арестовали Веру Осиповну Корсак, об этом я уже писала. Был арестован еще один мамин знакомый — Шумлинский Александр Яковлевич, беспартийный, редактор одного из отделов газеты «Экономическая жизнь». Арестован за какую-то ошибку или опечатку в газете. Он получил три года. По окончании срока вернулся в Москву. Тогда тех, кого освобождали, еще в Москве прописывали.

Странное было время. Прошло «шахтинское дело», прошел процесс Промпартии. Ведь интеллигенция-то в большинстве понимала, что осужденные невиновны, и вот такое спокойствие и даже, я бы сказала, безразличие. Но и боязни особой, массовой боязни, в ту пору не было. Да и режим, видимо, был еще относительно либеральный. Я имею в виду годы, проведенные мною на строительстве, 1931-1934.

Работали на канале, естественно, вручную. Да ведь в СССР тогда почти и не выпускались строительные механизмы. По всей стране так работали. Копали канал лопатами, грузили на грабарки с лошадкой или просто на тачки и вывозили по проложенным мосткам и дорогам. Охрана вокруг места работ стояла, но охраны было мало, а собак я и вовсе не видела. Я достаточно наблюдательна, на собак я бы обратила внимание. Когда привезли первые два экскаватора, из проектного отдела всех как ветром сдуло. Помчались смотреть на чудо, которого даже инженеры еще не видели. Вероятно, это были немецкие машины.

Какие условия были у з/к в бараках, я не знаю, бараки были где-то в стороне. Но те инженеры-заключенные, которые работали в отделе, все приходили в своей городской одежде, аккуратной, выглаженной. Вот я писала, что отдельные личности вызывали сочувствие. Естественно. Заметив, что моя соседка, заключенная-архитектор, не уходит на обед, я стала ей носить обед из нашей столовой. На виду у всего отдела. И ничего. Побеседовал со мной партгруппорг. Предупредил, что она политическая, но я просто ответила, что все люди одинаково хотят есть, и продолжала носить обед. С этой молодой женщиной я иногда даже прогуливалась по улице, правда, так и не спросила ее, за что она получила срок. Срок был небольшой — три года.

В клубе, который был общим для вольных и заключенных, часто ставились спектакли, похожие на те, что шли в московских театрах — о перековке; был большой цыганский ансамбль. Все это организовал начальник лагеря Фирин. На спектакли (их давали для заключенных) москвичей не приглашали, а когда бывали репетиции, я постоянно ходила смотреть. У дверей стояла охрана, но я, не спрашивая разрешения, проходила туда. И тоже ничего.

Авдеенко в своей последней повести (о поездке писателей на Беломорканал) упоминал о Семене Фирине, работавшем каким-то начальником на строительстве Беломорканала; теперь он был у нас.

Напишу, что у нас о нем говорили. Правда это или миф, я не знаю. Говорили, что Фирин закончил Институт востоковедения, потом был нашим разведчиком, где-то в Иране или Ираке, провалился, сидел в тюрьме, бежал, был ранен, но все же скрылся. Он, действительно, сильно хромал. И тоже был довольно молод, как и все мы тогда, что-нибудь лет тридцати пяти.

Что я еще помню о канале? Помню партийную «чистку», кажется, в 1932 году. Руководила ею Землячка. Происходило это всегда на открытых собраниях. Я запомнила одно собрание. Проверялся некто Муценко, имя и отчество я забыла. Этому человеку я очень симпатизировала. Он был хороший товарищ, в моем понимании этого слова. Возраст примерно тридцать два-тридцать пять лет, в партии с 1917 года, работал в подполье на Украине и жил там по фальшивому паспорту на имя Муценко. С этим же паспортом и остался. Но так как он был еврей, Землячка обвинила его в том, что он скрывает свою национальность. В партии его оставили, но влепили строгий выговор. Я ему очень сочувствовала. Человек-то хороший.

Ну а мы, «вольнонаемная» молодежь, как жили? Конечно, работали, и работали с полной отдачей сил. Зимой бегали на лыжах, учились стрелять из мелкокалиберки, кстати, у меня это неплохо получалось. Читали. А в субботу все как один бежали в свой распределитель, «отоваривали» карточки и везли продукты семьям в Москву. В Москве было еще голодногато.

Начиная с 1936 или 1937 года режим на канале изменился. Подробностей не знаю, уже жила в Москве. В 1937-м Коган и Фирин были арестованы и расстреляны. Были расстрелы и в лагере на канале. (Это мы теперь знаем по массовым захоронениям.) Но москвичи не пострадали, они по окончании строительства канала перешли работать в Гидропроект в Москве. Я там потом бывала, видела бывших сослуживцев, но про аресты мне никто не рассказывал. Наоборот, многих наградили и всем дали денежную премию. (Даже мою премию за работу в 1931-1934 годах мама каким-то образом умудрилась получить, хотя я в то время уже была в лагере.)

В 1933 году были введены одинаковые экзамены для всех поступающих в вузы. И летом 1934 года я во время отпуска подготовилась к экзаменам и поступила в Инженерно-строительный институт им.Куйбышева в Москве. Состав студентов изменился. Не было рабфаковцев. Пришли те, кто ранее после окончания школы не

могли поступить в институты и уже поработали несколько лет на производстве (они считались рабочими); пришли и ребята, только что окончившие школу.

Тогда же я вторично вышла замуж — за Юрия Григорьевича Островского. Мы переехали в другую, меньшую, коммунальную квартиру на улице Медведева. Жили в комнате втроем — мама и я с мужем.

Еще в конце 1934 или начале 1935 года меня поразил напечатанный в «Известиях» закон или указ о том, что члены семьи изменников Родины караются за преступления мужей и отцов. Этот указ у меня вызвал шок, хотя в моей семье еще все было благополучно, а «измена Родине» казалась таким страшным преступлением, которое может коснуться только единиц.

Между тем окна некоторых квартир вокруг стали оставаться по вечерам темными. Все-таки мы были потрясюще наивными людьми. Ну никак не приходило в голову, что арест может коснуться любого из нас.

В июне или июле 1936 года в газетах появился отчет о процессе над Зиновьевым и Каменевым. Муж был поражен как громом. Дело в том, что он в свое время учился на одном курсе с сыном Зиновьева, Степаном Радомысленским, бывал у них в доме и никак не мог поверить, что Зиновьев — шпион, предатель... — не помню, что там еще писали.

А в ночь с 26 на 27 августа арестовали и моего мужа. Обыск был в достаточной мере поверхностный. Даже мамино брачное свидетельство на японском языке не заметили. Мужа увели.

В моей институтской жизни важен третий курс, когда я пришла на занятия после ареста мужа. Отношение ко мне не изменилось, хотя я не скрывала, что мой муж арестован. Меня даже поразило, что, когда к 8 Марта был сделан стенд с фотографиями детей студентов, на этот стенд поместили и фотографию моего маленького сына. Инициатором был Лев Бернштейн, отработавший после школы несколько лет на Метрострое. И вот как все пересекается. Разбирая последнюю пачку наших опросных листов, я встретила его фамилию. Все сходится: инженер-гидротехник, москвич, возраст и все прочее. Он с первого курса увлекся приливными электростанциями (использующими силу морского прилива). Как-то по телевизору показывали станцию на Кольском полуострове. Автор проекта — Лев Бернштейн. А отсидеть ему все-таки пришлось. Он был арестован в 1947 году.

Весь третий курс я бегала на Кузнецкий, 24 — с передачами. Передачу у меня так ни разу и не взяли.

Через некоторое время после ареста мужа — еще один обыск. Дело в том, что у нас стояла тумбочка сослуживца мужа. Так вот, был обыск только этой тумбочки. Забрали все письма и фотографии, которые там лежали. Моих вещей не тронули. Тумбочка принадлежала Герману Хохлову, который вернулся из эмиграции из Австралии. Письма и фотографии были от его любимой девушки. После этого обыска я поняла, что муж назвал фамилию Хохлова.

Мой муж сотрудничал в журналах «Знамя», «Литературный критик» и в «Литературной газете». Одновременно с ним были арестованы Степан Радомысленский, его жена, Михаил Келдыш (старший брат будущего президента АН), Анатолий Буланов и, несколько позднее, Вера Филипповна Захарина. Все они — с одного курса университета. Еще позднее — Валерий Барков, экономист, приятель мужа. Стало быть, муж его тоже назвал. Почему? Об этом лучше не думать, об этом невозможно думать. Какие еще круги пошли, я не знаю.

Один раз мне позвонили по телефону: «Говорит следователь. Ваш муж интересуется, как себя чувствует сын». И больше ничего. Передачи он не разрешил.

Однажды я получила предостережение. У меня было несколько друзей по Ленинской читальне. Это люди, с которыми я там встречалась, иногда гуляла, но ни они у меня никогда не бывали, ни я у них. И вдруг получаю открытку из Магадана от одного из таких друзей — Алеши Введенова (я не помню теперь его специальность). Тогда я очень удивилась, откуда у него мой адрес и почему из Магадана? Мы с ним не виделись года полтора. Но не в этом суть. В открытке было всего несколько слов: «Галя, приезжайте в Магадан. Здесь можно устроиться на работу». И адрес. Мне стало ясно, что он лучше, чем я, осведомлен о надвигающейся опасности. Но он не знал, что у меня грудной ребенок. Куда же с ребенком? Я бы спасла себя, но потеряла сына.

Наконец мне удалось пробиться на прием в прокуратуру. На вопрос о муже ответ был такой: «Вы лучше о муже не думайте, нет у вас мужа». И все.

В ночь на 1 сентября 1937 года арестовали меня. Сыну было 1 год и 22 дня. Он остался с моей матерью. Помогал мой отец, но в ноябре и его арестовали, о чем я узнала много позже.

Возвращаясь к делу мужа. Из всех арестованных по тому делу выжила только Вера Филипповна Захарина. Она мне потом рассказала, что муж подписал все, что ему инкриминировалось. Ей дали прочесть его показания. Вера Филипповна не подписала, хотя под-

вергалась «конвейеру». Тем не менее получила десять лет тюремной изоляции в Орловском центральном. После приговора ее парализовало, и она все годы пролежала на тюремной койке. В 1941 году, когда в Орле производились расстрелы заключенных, в том числе Марии Спиридоновой, Захарина как инвалид тоже должна была быть расстреляна. В последний момент, когда все камеры были уже открыты, мимо нее пробежал молодой солдатик из охраны поезда, вывозившего остальных з/к в Салехард. Солдатик посмотрел на нее, подхватил на руки и впихнул в отходящий поезд. После реабилитации она вернулась в Москву, вылечилась от паралича, с помощью академика Келдыша была принята в Институт истории АН СССР, с блеском защитила кандидатскую о народниках. Умерла в самом начале перестройки.

Можно, конечно, сейчас добиться ознакомления с делом мужа, но сил у меня на это уже нет. Да и что это даст, через столько лет? Это уже дело историков и психологов.

Мой арест

Я не пишу воспоминания только о тюрьме и лагере. Мне хотелось описать всю мою жизнь, жизнь представителя моего поколения — целиком, от начала и до сегодняшнего дня, всю жизнь, как она прошла, — жизнь обыкновенного, ничем не примечательного человека двадцатого века в нашей стране. Тюрьма и лагерь — часть этой жизни.

За мной пришли вечером 1 сентября 1937 года. Я в этот день договорилась о производственной практике на строительстве и завтра должна была выйти на работу. За мной пришел всего один человек в форме НКВД, вполне вежливый. Обыск был не особенно тщательный. Я попрощалась с мамой, поцеловала спящего сынишку и пошла. Прощальные слова мамы были: «На пять лет моих сил хватит, не волнуйся». Увезли меня в «черном вороне» на Лубянку. Была жара, но я на всякий случай захватила с собой теплое пальто. Больше ничего не взяла. На Лубянке меня поместили в крошечную камеру, где стоял только один стул и ничего больше. Но продержали меня там лишь до утра, а утром отвезли в Бутырки.

Камера в Бутырках. Пол — сплошной настил из досок с очень узкими проходами. У двери — параша. Нас набилось человек сто. Спали впитирку на голых досках и поворачивались на другой бок по команде. Сентябрь был очень жаркий, многие пришли в летних платьях без пальто. Некоторых арестовали прямо на улице, и они не смогли зайти домой и сообщить домашним о своем аресте. Мне кажется, это была первая партия жен, арестованных в массовом порядке. Насколько помню, в камере были женщины, взятые 16

июля. Очевидно, это первый день, когда в Москве начали арестовывать жен «изменников Родины».

Сейчас я буду писать то, что, вероятно, пишут все. Стандарт. Тюремная жизнь. Сначала баня и прожарка одежды. Одежда съезжилась, особенно если у пальто были меховые воротнички. А в бане сидели надзиратели-мужчины (хотя на это мне было наплевать — не люди они для меня были). Оправка два раза в день по полчаса. За это время всем надо было успеть оправиться, умыться, постирать хотя бы трусы. Ведь мы все-таки женщины. Что действительно было достаточно унизительно — это кусочек газеты примерно 15x15 см, выдаваемый каждому в руки для оправки. После оправки камера являла собой странное зрелище: все стояли на нарах размахивая трусами — сушили.

В нашей камере была пожилая женщина, Мария Цезаревна Адольф, которая в процессе этой сушки развлекала нас лекциями по истории костюма. Потом она оказалась на моем лагпункте и стала заведующей пошивочным производством.

Была среди нас одна немка-коммунистка, еще в Германии вышедшая замуж за латыша, работавшего в нашем полпредстве. Видимо, она уже отведала немецкой тюрьмы, потому что единственная в камере умела перестукиваться. Ответа не получала. В соседних камерах сидели такие же неопытные, как и мы. Звали ее Иоганна Киперс.

Еще выделялись две молодые, совсем молодые девушки с КВЖД. Их, бедняг, вызывали на допросы каждую ночь. Ни их имен, ни их дальнейшей судьбы не знаю. Остальных всех вызвали всего по одному разу со стандартным вопросом следователя: «Расскажите о контрреволюционной деятельности вашего мужа». Спрашивалось это со скукой, ибо ответы все были тоже стандартные. Либо «не знаю», либо «он контрреволюционной деятельностью не занимался». Мой вопрос продолжался десять-пятнадцать минут. Затем опять камера и в конце месяца — еще один вызов для расписки под приговором — пять или восемь лет ИТЛ. Мне дали пять. Почему пять или восемь, мы так и не поняли.

Этап — через неделю, в стольпинском вагоне. Пять суток — мимо Рязани в Мордовию на 36-й лагпункт. Кормежка — вобла, вода и черный хлеб. На 36-м перегрузили в товарняк и еще пять километров до 1-го лагпункта Темниковских лагерей. Там нас встретили достойно, с собаками. Пересчитав, распределили по баракам. Жилых бараков было шесть — по 200 человек в каждом. Еще три барака производственных. Кроме того, маленькая сапожная на трех человек и маленькая слесарная, где жили мужчины. Мужчин — трое. Один — старик лет шестидесяти, Станислав Антонович, заме-

чательный слесарь, но почти неграмотный. Срок — десять лет. Второй — Павел, лет сорока, болен сухоткой спинного мозга. Срок — десять лет. Третий — молодой парень Ваня, семь лет за прогул.

В сапожной потом работали Анна Яковлевна Рабинович (теперь Розина), историк из Ленинграда, Мириам Абрамовна Шторх, кандидат биологических наук из Москвы и Софья Васильевна Романовская — тоже, кажется, историк из Москвы. У Анны Розиной на Соловках расстреляна была сестра, Евгения Яковлевна Мустангова, литератор.

Очевидно, и в Темниковском лагере мы были первой партией жен-заклученных.

Когда-то шел фильм «Путевка в жизнь», про беспризорников. Вот, кажется, беспризорники эту колею и строили, на этот 1-й лагпункт. Всего, насколько мы знаем, всех лагерных пунктов для жен в Темниковских лагерях было пять. Из них, по нашим подсчетам, четыре л/п по 1100 человек (я это проверила у Людмилы Львовны Печаловой — она работала в пекарне, в хлебозерке. Когда я спросила, не помнит ли она, сколько нас было на первом лагпункте, она мне тут же ответила: «Резали тысячу сто паек хлеба») и один большой на 2500 человек (там работали вышивальщицы). Управление всеми Темниковскими лагерями было на 36-м л/п, стало быть, были и неизвестные нам. Позднее мы узнали, что один из л/п был заполнен польскими офицерами (во время войны). А остальные? Бытовики, уголовники? Вряд ли там была в массовом порядке статья 58.

Вот фактические данные о нашем л/п, как они сохранились в памяти. Во-первых, это лесные лагеря. Лагпункты все были расположены в лесу, очевидно, в 5-15 км друг от друга. Ближайшая мордовская деревня Мухан — в 10 км от нашего л/п. Практически мы общались только с администрацией нашего лагпункта, и изредка наезжало начальство из 36-го управления.

Баракы, естественно, с двухэтажными нарами. Нары на восемь человек: четверо внизу, четверо вверх. На ночь баракы запирались, и мы пользовались парашей. Будки уборных на значительном расстоянии от бараков. По приезде нам выдали наматрасники и солому для набивки, наволочки и сено для подушек, полушерстяные одеяла и, по-моему, даже грубые бязевые простыни. Как полагается, колючая проволока, вышки, собаки и комендатура (она же — проходная около ворот). Маленький поселочек администрации располагался прямо против вахты.

Нас встретил щеголеватый начальник лагеря Маслов (он пробыл недолго, был заменен), который все время снимал и надевал белые перчатки.

В первый месяц только небольшая группа женщин работала на лесоповале — пробивали просеки к другим службам лагеря. Остальные не работали. Затем начало приходить оборудование для швейной фабрики. Вызвали Брониславу Борисовну Майнфельд — одну из первых женщин в Союзе, закончившую Бауманский институт, — и назначили ее старшим механиком фабрики. Она до ареста работала на заводе АМО, потом переименованном в ЗИС. Два раза выезжала за рубеж, в Штаты и в Германию, закупать оборудование для завода. Последняя ее должность — начальник цеха коробки скоростей. Но сидела она как ЧСИР.

Итак, Майнфельд подобрала себе людей, имевших хоть какое-то отношение к технике, и мы начали сами, с помощью слесаря Станислава Антоновича, монтировать конвейер, а потом были назначены дежурными механиками. Примерно через месяц-два фабрика заработала. Шили лагерное обмундирование. Работали в две смены и, насколько я помню, сначала (до войны) по восемь часов в смену.

Вскоре пришлось строить еще один небольшой домик. Многие женщины пришли беременные, а двое — с детьми, родившимися в тюрьме. Одна — Юдифь Соломоновна Ланина (директор Ленинградского комвуза), другая — Фрума Ефимовна Трейвас из Пугачевской башни Бутырок. Первый же ребенок, родившийся в лагере, — маленькая Татка, дочка моего друга по лагерю и на всю последующую жизнь, Татьяны Сергеевны Гречаниновой. У кого было с собой свое белье, перекраивали в детские распашонки, чтобы ребятишкам было помягче. Точно не знаю, но, кажется, детишек было около восьмидесяти.

Первые полтора года мы не имели права переписки. Не знаю, что маме отвечали в окошечке на Кузнецком. Почему-то я ее не спросила. Потом разрешили писать тем женщинам, у кого в лагере родились дети. Когда детям исполнился год, разрешили запросить родных, не согласятся ли они забрать ребенка. Потом разрешили запросить о детях, которых забрали в детские дома. И только потом уже разрешили переписку всем — по одному письму в месяц.

За многими детишками приехали родственники. Мы зашивали тряпочки со своими адресами в детские одеяльца. Так — через маленькую Татку Гречанинову — моя мама узнала, где я нахожусь. Тех же, кого не забрали родственники, держали в лагере до шести лет, потом отправляли в детдом. Был один какой-то год (перед войной), когда разрешили свидания. Свидания происходили на вахте. Там поставили постель для приезжающих, и они могли побыть один-два дня. Моя мама тоже приезжала, привозила сына. Ему было тогда около трех лет. От мамы я узнала, что отец арестован и что ей

сейчас помогают родители моего мужа. О нем самом сведений, конечно, не было.

Меня однажды спросил какой-то журналист, что было самого тяжелого в лагере? Для меня самыми тяжелыми были два момента.

Первое — это состояние тех женщин, которых или арестовали прямо на улице, причем дети остались одни в квартире, или арестовали хоть и дома, но за детьми при матерях никто не приехал и они не знали, что с детьми. И второе, когда начали приходить ответы на запросы о детях, находящихся в детдомах. Если приходил ответ, что ребенок в таком-то детдоме, это было уже счастье. Он цел. Но на некоторые запросы приходил ответ: «Ваш сын бежал, и его местонахождение неизвестно». Эти дети почти все пропадали навсегда. Как выдержать такое — не знаю.

Внутри лагпункта была маленькая больничка. Врачи свои. Болезней было не так уж много. Несколько человек умерли от рака. Но, видимо, он начался еще до лагеря. Больные печенью и почками даже выздоровели. На обезжиренной пище эти болезни проходят. Появилась пеллагра, а у меня была цинга. Лечились отваром из еловых иголок. Кроме того, некоторых «пятилеток» (меня в том числе) расконвоировали, а так как лагеря были в лесу, летом мы ходили и собирали ягоды и грибы и приносили их в зону. Это было большое подспорье.

А теперь о том, чем нас кормили. Утром — каша из овса или чечевицы, в обед — суп, часто из гнилой капусты и картошки, иногда с кусочком трески, иногда с селедочной головой, на второе — каша, на ужин каша. Иногда давали кашу из сои, иногда — мамалыгу. Добавлялась чайная ложка постного масла. И хлеб ржаной. Если выполняешь норму, — 500 граммов, если перевыполняешь, — до 800. Ничего, жили.

Когда началась война и участились случаи пеллагры, внутри зоны разрешили делать маленькие огородики, примерно 2х2 м, а расконвоированные и некоторые уже так называемые вольнонаемные приносили в зону семена моркови и картофельные очистки с глазками, и все засевали себе маленький участок.

И еще один источник пропитания. У нас ведь было швейное производство. Во время раскроя ткани остаются узкие полоски — «кромка». Эта кромка раздергивалась на нитки, из которых вязали шапочки, кофты — и для себя, и для обмена на продукты в ближайшей деревне Мухан. Туда могли ходить только вольнонаемные. И мы это делали — для себя и для з/к. Десять км туда, десять обратно. Полдороги лесом, полдороги полем. На опушке леса стояла избушка.

Я однажды зашла. Боже мой, какая бедность! Меня встретила девочка восемнадцати лет, а на печке торчало еще четыре маленькие головки — братишки и сестренки. Где отец? На фронте. А мать? Умерла. Меня оторопь взяла. Как ей, восемнадцатилетней, прокормить этих детей? Мордовские деревни (я была в нескольких) очень бедные. Картошка, просо, иногда корова. Ни фруктовых деревьев, ни ягод, ни овощей. И... полное отсутствие мужиков.

Когда нас привезли, «разгрузили», распределили по баракам, нам назначили старост (все-таки бывших членов партии). Вообще, у меня сложилось впечатление, что администрация сначала не вполне понимала, как к нам относиться. С одной стороны, мы — з/к, с другой — статьи не имеем, просто жены. И надо сказать, что на нашем л/п и начальник, капитан Шапочкин, и его заместитель, старший лейтенант Дмитрий Левин, относились к нам по-человечески, в пределах устава, конечно. Я расскажу два случая о капитане Шапочкине.

Еще в камере со мной сидела Иоганна Киперс. Теперь мы попали на один лагпункт. У нее было тяжелое нервное заболевание, и она не усваивала пищу. После каждой еды — рвота. Она таяла на глазах. Так вот, когда разрешили свидания, некая Мара Еланская (кстати сказать, жена расстрелянного сотрудника НКВД) пошла к Шапочкину и сказала ему, что, по мнению врачей, Киперс можно спасти, только если перед едой давать ей ложку кагора. К Еланской ехала на свидание мать, и она попросила разрешения написать матери, чтобы та привезла этот кагор. Шапочкин ответил: «Пишите при мне». Он взял в карман это письмо, и кагор был привезен.

Другой случай. С Татьяной Гречаниновой. Она, естественно, не хотела рожать ребенка в лагере и просила Шапочкина разрешения сделать аборт. Шапочкин ответил: «Гречанинова, у вас нет больше мужа. Выйдя из лагеря, вы будете одиноки. Подумайте, как хорошо, если у Вас будет ребенок, будет близкое существо». Он ее уговорил (она рассказала мне об этом перед смертью). У нее выросла прекрасная дочка, родилась внучка, правнук, и до конца жизни она была благодарна Шапочкину.

А у старшего лейтенанта Д.Левина был расстрелян брат, жена брата тоже находилась в Темниковских лагерях, но на другом лагпункте. Левин не отдал племянника в детдом, как делали многие, а воспитывал вместе со своим сыном и однажды устроил так, чтобы новестка приехала по какому-то делу на наш л/п, а потом провел ее сына перед воротами, чтобы мать смогла его увидеть. Для того времени это очень смелый поступок. В конце войны его вынудили уйти на фронт добровольцем. Он был убит в апреле 1945 года.

Может показаться, что я уж очень расхваливаю нашу лагерную администрацию. Нет. Просто стараюсь быть объективной. Почему Темниковские лагеря были относительно либеральным местом на фоне других лагерей? Может быть, потому, что мы были первые, и еще не выработалась привычка относиться к «женам врагов народа» как к остальным заключенным. Ну, а, может, нам просто повезло с начальником.

Теперь о нас, женах. Во многом мы были очень похожи. Похожи по приговору — ЧСИР, похожи тем, что для всех арест оказался полной неожиданностью, и еще тем, что к 1936-1937 годам мы все были теми, кого следует называть абсолютно советскими людьми. О перемене строя ни у кого и мысли не возникало. Некоторых занимало только одно — довести до сведения ЦК партии и до Сталина, что творят органы. Почти все были убеждены, что это отнюдь не установка ЦК или Политбюро, а какой-то заговор внутри партии или неизвестный партии фашистский заговор. Так думала и я. Но что все, находящиеся в лагере, ни в чем не виновны, мы не сомневались.

Основной возраст лагерниц — примерно тридцать-сорок лет, то есть это были люди, либо принимавшие участие в революции 1917 года, либо уже воспитанные революцией. Правда, после ареста некоторые, преимущественно польки (вероятно, коминтерновки) стали относиться к советской власти критически. Но таких было мало.

А по социальному и профессиональному статусу мы, конечно, были разные и группировались соответственно. Были жены военных — Корк, Эйдман, Гамарник, Тухачевские. Они держались особняком, как и те, чьи мужья раньше служили в НКВД. Были технари и механики. Были люди, причастные к литературе, искусству, истории. Эти гораздо больше общались между собой и больше знали друг о друге. Была еще группа почти неграмотных женщин — жен рабочих коломенских паровозостроительных заводов. Двое из них сидели с дочками — девочки лет шестнадцати, восьмиклассницы (Анфиса Копылова и Аня, фамилии не помню). Всего девочек было, кажется, четыре. Кроме упомянутых, еще Татьяна Смилга и Нина Ломова, но они, вроде, прибыли позже — в 1938 году.

Первыми, по-моему, начали аресты жен Москва и Ленинград. Во всяком случае, мы, москвички, арестованные между июлем и сентябрем 1937 года, были первыми, привезенными в Темники. Затем появились женщины из Киева и других крупных украинских городов, латышки из Москвы и много грузинок (один барак был чисто грузинский). Попала в лагерь даже одна молоденькая американка. Она получила всего три года, и после освобождения родители добились ее возвращения домой.

Я не буду перечислять, кого запомнила (такой список я сдала в архив «Мемориала»). Упомяну только нескольких. Например, со мной в бараке были сестра и жена историка Фридлянда, математик Татьяна Айхенвальд, с которой я и Бронислава Майнфельд, чтобы совсем не атрофировались мозги, повторяли интегральные исчисления, затем Радек (первая жена?) — старая женщина, врач. Она в лагере умерла от рака. Была еще врач — дочь Бонч-Бруевича.

Нескольких женщин (я помню трех) вызвали на допрос в Москву, пытали и расстреляли — Ядвигу Паукер, жену коменданта Кремля, Асю Попову, жену Сырцова, и Сосновскую, жену журналиста «Известий».

Темниковские лагеря для жен отличала одна особенность. Мы жили в совершенно замкнутом мире. У нас почти не было никаких передвижений, разве что на другой лагпункт в пределах нашего же лагеря. Не появлялись и новые люди, приходящие с воли. Сейчас, когда через мои руки прошли тысячи опросных листов, мне бросилось в глаза, что большинство заключенных, особенно мужчины, сменили несколько лагерей. Иногда их перебрасывали буквально из одного конца страны в другой. Ну и, кроме того, смертность. Умершие заменялись другими. Стало быть, в этих лагерях получали какую-то информацию о том, что делается в стране, продолжают ли аресты. Мы же практически были отрезаны от любой информации, кроме черной тарелки радио и одной газеты, не помню какой, наверное, «Правды» или местной, мордовской. Тот год, когда нам разрешили свидания, тоже в этом смысле ничего не дал. Приезжали старенькие, напуганные матери, которые мало что могли рассказать.

У нас, на первом лагпункте, произошел один любопытный эпизод. Машины мы получали с нашего, Подольского завода. А отечественное оборудование, как правило, не работает без дополнительной наладки. И вот, когда мы получили партию машин для обметки и прорезки петель, ни одна из них не работала. Вызвали наладчика с Подольского завода. Он проработал у нас целый месяц. Работал в зоне, в цехе, а мы, механики, сидели рядом и учились. За весь месяц мы не задали ему ни одного вопроса, ни разу ничего не рассказали о себе, не попросили взять письмо на волю. Мы говорили только о машинах. Такие мы были.

Война

К этому времени у нас уже висели во дворе репродукторы — черные тарелки. И в 12 часов 22 июня 1941 года мы слушали Молотова, а потом, 3 июля — знаменитую речь «Братья и сестры...»

И вот, когда мы услышали эти «Братья и сестры», пришло понимание, что наступила катастрофа. Ведь мы, в общем-то, не имели настоящей информации.

Что изменилось у нас? Перешли на одиннадцатичасовую работу днем и десятичасовую в ночную смену. Стали шить воинское обмундирование. Ухудшилось питание. Ухудшилось, вернее, совсем прекратилось, снабжение нашей фабрики запчастями, а главное — иголками к швейным машинам. И ведь вышли из положения. С помощью наших слесарей организовали производство иглолок из стальной проволоки. Мучились мы, механики, мучились мотористки, но дело шло. А потом стали получать американские иголки. Наверное, ленд-лиз.

Трудно себе представить: люди работали, как, кажется, работать невыносимо. Что там Америка с ее темпами! Я помню, однажды остановилась машина, пришивающая пуговицы, накапливались горы незавершенной продукции. За ремонтом этой машины я просидела тридцать шесть часов подряд, не отрываясь. Еду мне приносили. Так работали все.

Один из тележурналистов, американец, недавно приходивший ко мне, с удивлением спросил: «Неужели вы, находясь в советском лагере, не ждали немцев как избавления?» Для него было непостижимо, что для нас, з/к (я думаю, это относится ко всем лагерям ЧСИР, а может быть, и ко всем лагерям вообще), фашизм олицетворял то же, что и для всего населения нашей страны.

У многих близкие остались в Белоруссии, на Украине, на Смоленщине, одним словом — под немцами. У многих погибли дети, но это выяснилось позже, а пока женщины были абсолютно беспомощны. Если ты уходишь от врага даже под бомбежкой, ребенок все-таки с тобой, ты что-то сам решаешь, делаешь. А когда от тебя ничего не зависит, — это труднопереносимое состояние.

Например, Аня Кац. Она умерла давно, в конце шестидесятых. Не помню, кем она была до ареста, кажется, партработником. Я до сих пор не могу забыть ее глаз после получения последнего предвоенного письма (оно пришло уже в начале войны). Ее мать, забрав двух внуков, перед самой войной поехала к родственникам в Минск. Все. Аня никогда ничего не узнала о них.

Не помню уже, в каком это было году. Немцы подошли совсем близко. Мы видели красные сполохи. Либо бои, либо пожарища. Нам велели приготовить небольшие мешки на случай пешего ухода из лагеря. Но немцев отогнали. Пролетали над нами немецкие самолеты. У них особый, воющий звук. Эти самолеты летали бомбить Горький, а над нами сбрасывали листовки. Но наши женщины были

так напуганы, что никто, кажется, не прочел ни одной, сразу бежали и сдавали в комендатуру.

А перед войной было вот что: когда немцы вошли в Польшу, масса польского населения уходила к нам, а у нас прямо с границы их гнали в лагерь. И вот в какой-то момент освободили один или два барака от наших женщин и отправили их куда-то на север (в их числе ушла Таня Айхенвальд). Освободившиеся бараки заполнили поляками. Не помню, сколько времени они у нас пробыли. Во всяком случае, до тех пор, пока наша армия не вошла в Польшу. Тогда, согласно какой-то договоренности, их отпустили и отправили домой.

И я не помню, когда, видимо, году в 1944-м, освободившиеся от полек бараки заполнили уголовницами. Сами по себе эти уголовницы нам особых хлопот не доставляли. Нас было больше. Но вот когда внутри зоны разрешили, как я уже говорила, устраивать маленькие огородики, на огородик моего друга Майнфельд и еще одной пожилой женщины повадился ночной вор и стал у них выдергивать морковку. Что делать? Они постарше меня лет на десять, да и из барака ночью не выйти. Я к тому времени была уже вольнонаемной и жила за зоной, но как механик имела право входить в зону и выходить когда угодно. Я решила подежурить у них на огороδικе. Запаслась хорошей дубиной и стала ждать. Ночью появилась огромная бабища по прозвищу «Чума» — и к ним на огород. Трудно, наверное, представить меня дерущейся. Но я лупила ее этой дубиной, пока она не свалилась мордой в канаву и не уползла от меня на четвереньках. Я, конечно, боялась, и очень. Я ведь вольнонаемная и за избиение з/к могла получить новый срок. Но, видимо, у уголовников своя этика: поскольку мы не пожаловались администрации, а управились сами, то и они не пожаловались. И огороды оставили в покое.

А что же было с нами, «пятилетками»? Срок кончился в 1942 году. Но шла война. И вот, большинство было оставлено в качестве вольнонаемных, без права выезда за пределы лагеря до особого распоряжения. Некоторых взяли в контору, некоторых — в управление 36-го л/п, особенно хорошеньких. (Вот А.И.Тартак вспоминает, что когда пришел срок освобождаться некой Анне Асковой — ее муж, работник посольства в Японии, был расстрелян, — то она, а она была очень хорошенькая, с чудной копной волос, обрилась наголо. Кто-то из начальства зашел на фабрику и ахнул: «Что с вами, Аскова?», она ответила: «Я очень обовшивела»). Небольшое число отпустили в 1943-1944 годах с обязательны «минусом»; кого-то отправили в ссылку (но таких было совсем мало).

Помню, как я возвращалась по шпалам пять километров с 36-го л/п, где получила справку о том, что отбыла срок и оставлена на работе в качестве «вольнораемной», без права выезда за пределы лагеря и без паспорта (паспорт мне выдали в 1946-м). Все-таки вольная! Пусть не совсем, но хоть наполовину вольная. А это очень много значило для меня, потому что «вольным» разрешили вызвать к себе семью. А семья моя — мама и сын, эвакуированные из Москвы с госпиталем в Уфу, — просто умирала там с голода. Я сразу подала заявление и стала ждать своих.

По вызову привезли нескольких детей, может, восемь-десять, но из родственников при лагере никто не остался, кроме моей мамы. Мне выделили крохотную комнатку, 5-6 квадратных метров, и мы зажили втроем. На одной деревянной кровати спала мама, на другой сын и где-то посередине — я. Но и это казалось нам счастьем. Истощены они были предельно, мама четыре месяца пролежала в постели — полная дистрофия. Но все же у меня была одна рабочая карточка и две иждивенческих. А приехавшим детям на один месяц (по очереди) давали по пол-литра молока. Выделили пятнадцать соток земли. Мало-помалу мама приходила в себя. Я ходила в Мухан и выменивала на продукты наши скудные пожитки. Связала из кромочных ниток рейтузы и свитера для мамы и сына. Посадила картошку, посеяла просо, а главное, когда мама начала вставать, они с сыном уходили на целый день в лес. В лесу было полно малины, земляники, черники и грибов. Мама поправилась.

Для детишек — приезжих и местной администрации — организовали школу. Учеников было мало. Все классы вместе. Одна учительница, в одной комнате.

Несколько раз я приводила сына в цех. Ему было лет восемь. Там его очень полюбила одна уголовница — Лида Чкареулли. Мы ее взяли в механики. Девчонке было семнадцать лет. Три года она уже отсидела где-то в другом месте. Оставалось четыре. Она была главарем мальчишеской бандитской шайки. Но девочка справедливая и любознательная. Перечитала все имеющиеся у нас книги. Когда ее спрашивали, что она будет делать по освобождению, отвечала: «Если мать жива, чем-нибудь займусь, а если мать умрет, буду работать по основной профессии». К сыну моему она привязалась. Даже сама сделала для него книжку с собственными рисунками и стихами. Потерялась. Жаль. Сын Лиду до сих пор помнит.

В начале зимы 1944 года, когда стало не хватать вохропцев, нас, вольнораемных, вынуждены были посылать в Москву, сопровождать готовую продукцию. Ехали примерно пятеро суток в товарном ваго-

не, забившись в эту продукцию от холода. С собой на эти дни брали вареную картошку. Трудно было. Даже за кипятком страшно побежать — вдруг состав тронется. В теплушку ведь очень непросто забраться.

Один раз послали меня. Приехала, сдала продукцию. Меня, конечно, обсчитали на одну пачку. Пришлось потом выплачивать, но это входило в правила игры.

Москва. Ни единого огонька — затемнение еще действует. Странно было ходить по абсолютно темным улицам. С трудом нашла свой дом. Соседи все на месте, никто не эвакуировался или уже вернулись. Приняли меня на удивление добросердечно. И предупредили, что мама должна скорее возвращаться, а то комнату могут занять. Кстати, комната была пуста — четыре стены, пол и потолок. Всю нашу скудную мебель кто-то вывез. Но не соседи. У них наших вещей не было.

Вернулась в лагерь и стала готовить своих к отъезду. Одна из наших кладовщиц швейного цеха собрала лоскутов покрупнее, и сынишке сшили теплое, на вате, пальто. Нажарили картофельных котлет, еще какой-то снеди раздобыли и отправили их со следующей теплушкой, которую сопровождала Бронислава Борисовна Майнфельд. Она взяла на себя такой риск. Моих надо было спрятать получше, ведь в Москву без пропусков еще не впускали. На какой-то подмосковной станции мама и сын выскочили из вагона и сели на пригородный поезд. Так нелегально в Москву и въехали. И прописались хитростью — дали управдому выращенную еще в Мордовии курочку и прописались.

Так закончилась эвакуация для мамы и сына. Друзья и родственники мужа дали кто кровать, кто стол, кто стул. Мама начала снова работать. Долго нуждались, голодно в Москве было очень. Но здесь я ничем помочь не могла. Мои же скитания продолжились еще добрых десять лет.

Еще немного о зоне

Мы были глупы и послушны, как овечки, даже самые умные из нас. Я думаю, что это относится не только к Темникам, но ко всем лагерям ЧСИР, может быть, и ко многим другим лагерям, а по существу, ко всей стране. Если сформулировать иначе, то у нас просто была заблокирована часть мозга некими установками, которые настолько крепко в нас засели, что не позволяли этим участкам мозга работать нормально — думать.

Некоторые очнулись раньше, большинство — позже, а были и такие, что остались невосприимчивыми к свежим мыслям навсегда.

(О себе могу сказать, что первый толчок, который заставил меня задуматься, я ощутила уже во время «перестройки». Толчком послужило слово «утопия». Сама бы я не додумалась. А потом я стала читать. К этому времени стали появляться статьи, сначала робкие, потом более уверенные.)

Ну а у оперуполномоченных была своя служба, и эта служба тоже была запрограммирована по-своему. Овечки не овечки, а донесения должны идти своим чередом.

Люди в лагере как-то группируются по работе, по взаимной симпатии. В каждой группе, по-видимому, вербовали одного-двух человек для фиксации всех разговоров.

Сарра Циммерлинг, жена одного из наркомов НКВД Белоруссии, Г.А.Молчанова. (Я пишу «одного из», потому что в 1937-1938 годах их последовательно снимали и расстреливали). Эта женщина старалась сразу познакомиться с вновь прибывающими и разведать, чем дышит человек.

Соня Павлова, партработник (кажется, работала в газете «Правда»). Она сразу публично отказалась от арестованного мужа, что ее, однако, не спасло. О том, что она «стучит», знал весь л/п.

Пытались вербовать и в нашей маленькой группе, состоявшей всего из пяти человек. Татьяна Сергеевна Гречанинова категорически отказалась, хотя ее усиленно уговаривали, особенно, когда она, будучи экспедитором, разъезжала по лагерям и развозила картошку и крупы — ее пытались вербовать на каждом лагпункте. Ее вызывали на несколько часов и требовали дать подписку. Это длилось не день, не месяц, а годы. Но она не подписала. А другая не устояла и дала согласие доносить на слоч товарищей. Но она нам об этом сразу сказала. Ее имя я называть не буду, мы ей простили. В общем-то, она хороший человек.

А две женщины остались для меня загадкой до сих пор. Они обе были старше меня на десять лет, стало быть, их уже нет в живых, и я их могу назвать.

Зинаида Степановна Попова — первая жена Ягоды, но сидела за второго мужа. И Эмма Юрьевна Страздынь — в Бутырках я была с ней в одной камере — партийный функционер, либо адмхозработник, либо кадровичка, не помню. (Муж ее, Дзенис, был преподавателем Института красной профессуры. Сын бежал и пропал навсегда). Когда в барак кто-нибудь запевал: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...», Эмма всегда старалась прервать, чтобы не было неприятностей. (После освобождения она уехала в Ригу.)

Обе они были кладовщицами пошивочных цехов. Должность привилегированная. А вместе с тем они, чем могли и как могли, нам помогали. Мне лично — одеть моего сына и по секрету от лагерной администрации отправить с мамой в Москву.

У меня осталось большое уважение к этим двум женщинам, хотя я и не знаю, кто они были на самом деле.

Была на нашем л/п и некая Анна Рекстынь. Однажды ее положили в больницу. Эмма убирала ее постель и наткнулась на несколько заявлений, написанных в адрес начальника л/п о том, что она — бывшая чоновка и может быть полезна администрации в выявлении неблагонадежных лиц. Эмма пришла в ужас и сожгла все эти заявления. А потом Анну Рекстынь убили. Она была расконвоирована, ходила, так же, как и я, в лес и однажды вернулась вся в ножевых ранах. Что произошло, мы не знали (может быть, бежал кто-нибудь из уголовников). Телегу с ее телом проводила до ворот только Эмма Юрьевна.

На нашем лагпункте было 1100 человек. Из них пятерых освободили досрочно. Все — «восьмилетки».

Первой, насколько помню, освободили Наталью Мацилевскую. Женщина пожилая, ничем не примечательная. У нее было двое детей: дочка шестнадцати лет и сын десяти. Когда мать арестовали, девочка не отдала брата в детдом, а бросила школу и пошла работать на ЗИС. (Позднее встретила там Майнфельд и рассказала ей свою историю.)

Однажды за ней приехала машина, и ее повезли в НКВД, ввели в комнату, где человек в пенсне (Берия) предложил ей сесть и спросил:

— Вы знаете такую-то?

— Да, это моя подруга по школе.

— Так вот, она работает в тылу врага и ей нужна связная. Она сказала, что полностью доверять может только вам. Вы согласны летать в тыл врага, быть связной?

— Но мой отец расстрелян и мать находится в лагере, а у меня братишка.

— Это мы знаем. Если вы согласны, вашу мать вернут в Москву и она будет жить со своим сыном.

Конечно, дочь согласилась, и Н.Мацилевская вернулась в семью. Девушка летала несколько раз и осталась жива. Матери она так всего и не рассказала, боялась, что та проговорится.

Второй случай — сама Бронислава Борисовна Майнфельд. К 1944 году квалифицированных кадров на ЗИСе оставалось мало. Директор

завода И.А.Лихачев добился от Берии возвращения Майнфельд на завод. Она не досидела примерно год. Правда, в 1950 году, когда на заводе началось дело о «сионистской группе», она была снова арестована в числе первых. Получила двадцать пять лет (Джезказган).

И третий случай. Итта Пензо — жена кинооператора Нельсона (фильм «Волга-Волга» и др.). За нее хлопотал, кажется, Дыховичный, просил откомандировать ее во фронтовую бригаду. Она, артистка, руководила в лагере концертной бригадой сначала у нас, потом у уголовников (вот еще подтверждение того, что на других л/п были уголовники). После освобождения Итта ездила с фронтовыми бригадами, выступала в частях, получила орден, осталась жива. Впоследствии вышла замуж за главного конструктора ЗИСа — Фиттермана. В 1950 году была арестована повторно и просидела около трех лет на Лубянке, уже за Фиттермана. (Сейчас они вместе, если живы). А я могу добавить только следующее: тогда, в 50-м, она встретилась перед кабинетом следователя с Б.Б.Майнфельд и призналась ей: «Броня, я на тебя наклепала».

Было еще два освобождения, непонятных. Зина Еременко, молодая солистка балета Большого театра. (Может быть, она дочь генерала Еременко?) О ней мы больше никогда не слышали.

И Вера Владимировна Коломок (теперь ее фамилия Власова). Ее муж был сначала секретарем обкома комсомола в Николаеве, потом занимал какие-то ведущие должности в горкоме партии. Это моя приятельница, и мы с ней долго гадали, кто мог ей помочь? В конце концов решили, что в органах нашелся человек, который ранее был комсомольцем в Николаеве и сумел хоть через несколько лет что-то для нее сделать.

Освобождение

Вот пришло время уезжать и мне. Летом 1946 года мне выдали паспорт со штампом о том, что я была в лагере, и с пометкой — п.39 инструкции о паспортах. И я поехала в Москву. Пункт 39 обозначал запрет проживания в очень большом числе городов, кажется, в ста. Началась в каком-то смысле еще более трудная жизнь.

В лагере у нас какая-никакая, но была койка, пусть баланда, но еда. А теперь надо было рассчитывать только на себя во враждебном мире. За девять лет лагеря мы разучились заботиться о себе, о своих близких. И мир, послевоенный мир, стал иным, чем тот, который мы помнили.

Первое страшное впечатление — из окна вагона. Пустые, заросшие бурьяном поля и одна-единственная худущая женщина за плу-

гом, в который впряжена тощая корова. Одна на поле, простирающемся до самого горизонта.

Другое впечатление. На станциях влезали крепкие мужики — без ног, а иногда и без одной руки — привязанные к примитивным тележкам. Когда трезвые, когда пьяные. Они или пели, или просто побирались, продвигаясь вдоль вагона. Их было много, очень много. (Потом, через какое-то время, они исчезли. Их выловили и куда-то увезли.)

Итак, я ехала в Москву, зная, что мне там жить нельзя. Освободившиеся москвичи прописывались в Александрове, Петушках, Кимрах. Но там не было работы. Я прописалась в Кимрах. Раз в месяц ездила отмечаться в милиции и платить хозяйке тридцать рублей за прописку. Жила нелегально в Москве. Дома почти не ночевала. Не хотелось мне, чтобы за мной пришли в присутствии сына. Ему было уже десять лет. Ночевала у друзей: или у Майнфельд, или у Бершадской — преподавателя высшей партшколы. Рисковали, но давали приют. Искала работу «на отъезд», но ничего не могла найти. Жила тем, что шила на заказ дома. Это не моя специальность, но научилась. А тут еще мама сломала руку. Трудно было. Так продолжалось месяцев восемь. И никто из соседей не донес, наоборот, предупреждали, когда в соседнюю квартиру приходила милиция, чтобы я была осторожна. (Одновременно со мной привезли домой мою парализованную приятельницу Веру Филипповну Захарину. В тот же день соседи донесли, и ее пришлось срочно увозить. На носилках. Вот вам две московские квартиры, обе в центре города... Здесь же мне хочется замолвить слово за академика Панкратову, историка. Где-то я прочла очень нелестные слова в ее адрес. А я — свидетель других фактов. Кроме ее близких друзей, наверное, никто не знает, что после возвращения в Москву моя солагерница Жемчужнова Ольга жила у Панкратовой на полном обеспечении под видом секретаря — до самой своей смерти. И, кроме того, Панкратова помогала материально еще одной моей знакомой, тоже отсидевшей — Агнессе Борисовне Солнцевой. Должно быть, тогда многие жили двойной жизнью. Что перевешивало? Трудно сказать.)

Наконец одна из моих солагерниц, Вера Владимировна Коломок, написала мне из Белой Церкви (Украина), что там можно устроиться. И я поехала.

В Белой Церкви я поступила механиком по ремонту в маленькую артель на тридцать швейных машин. Получала пятьсот рублей, из них двести платила хозяйке за койку. Помогать маме никак не могла.

1946 и 1947 годы были совсем неурожайными. Занимались сельским хозяйством одни женщины. В столовой давали вареники, начиненные картошкой, и морковный чай. Это на Украине-то! Топили

половой (кожура от проса). Артель — тридцать девушек из соседних деревень. Работа — зарплаты на мешки для сахарных заводов. Я спрашивала девушек, что их заставило взяться за эту работу. Отвечали: «В деревнях совсем нет мужчин, а здесь, может быть, хоть солдата какого встретишь». Целое поколение осталось без мужей. Это страшно.

Белая Церковь хоть и переходила несколько раз из рук в руки, но разрушена была мало. Большая часть еврейского населения успела уйти еще до немцев. Теперь они вернулись.

Летом ко мне приехал сын. Я нашла себе еще какой-то приработок, и лето мы прожили вместе. Вечерами ходили купаться на речку Рось, и я его учила плавать. Над рекой — пригорок, вроде пляжа. Туда ежедневно выводили отдыхать пленных немецких офицеров. Сытые, загорелые, в заграничных плавках, о каких у нас тогда и представления не имели, они лежали на этом пригорке и с прищуром смотрели на всю эту, преимущественно еврейскую, мелюзгу. Картина осталась в памяти до сих пор. И сын помнит.

Живя в Белой Церкви, я поступила учиться, заочно, в Киеве — все-таки хотелось получить диплом. Когда приезжала на экзамены и заходила в читальню, все удивлялась — почему на меня так пристально смотрят. Догадалась позднее. Я ведь была одета в лагерную телогрейку, всю заштампованную снаружи: «Темлаг» — больше ничего у меня не было. Так или иначе, добралась я в Киеве до пятого курса экономического факультета (с зачетом сданного до 1937 года). На этом мое образование и закончилось.

В 1949 году началась новая волна арестов. В моей артели арестовали закройщика, так как он ранее уже отсидел пять лет. А меня уволили. Директор мне сообщил, что арестовывать меня не будут, но органы предложили меня уволить. Что делать? Стала шить по домам. День работы — обед и 10 рублей.

Так прошло несколько месяцев, за это время я списалась с Татьяной Гречаниновой и уехала на Север, в Мончегорск, где тоже сначала шила, а потом устроилась рабочей в стройлабораторию.

Наступил год 1950-й. В Москве на ЗИСе прошло «сионистское дело», а у нас на стройке — производственное совещание, и я поняла, что меня уволят. От мамы получила телеграмму: «Броня уехала» (это Майнфельд получила свои двадцать пять лет). Через неделю меня вызвали в отдел кадров. Я попросила, чтобы мне дали куда-нибудь направление. Дали в Кандалакшу. Это им ничего не стоило — все равно уволят и там.

В Кандалакше строился алюминиевый завод, и меня определили на участок жилстроя, уже не рабочей, а экономистом. Моя работа длилась ровно неделю. Через неделю уволили. На мое счастье, из Москвы приехал начальник главка алюминиевой промышленности, некто Кротов. Я записалась к нему на прием. В присутствии начальника строительства Худенко рассказала свою историю и объяснила, что мне ведь как-то надо кормить сына. К моему изумлению, Кротов написал распоряжение принять меня на участок жилстроя старшим экономистом. Век ему буду благодарна. Проработала год в Кандалакше, освоила новую специальность.

Через год участок расформировали, и я осталась не у дел. Всех пристроили, кроме меня. Но опять приехал Кротов, я опять к нему. Он и на этот раз мне помог: направил меня старшим экономистом в Надвоицы. Это новая площадка строительства еще одного алюминиевого завода, но не город, а поселок.

Приехала в Надвоицы и начала работать. Это уже 1952 год. Прошло какое-то время, и я решила пойти к управляющему. Надвоицы были приравнены к местностям Крайнего Севера, и все, кроме меня, получали полярную надбавку. Управляющий Семенов, выдвигенец из рабочих, выслушал меня и сказал: «Давай, давай, я подпишу с тобой договор, что тут болтаться без «полярки».» И подписал. В это время приехал из Москвы начальник отдела труда и зарплаты. Ну, думаю, мой договор отменят. Но он вызвал меня, поговорил и завизировал договор. Моя вера в то, что есть хорошие люди, еще раз подтвердилась.

С сослуживцами, как обычно, сложились хорошие отношения. Я ведь по натуре доброжелательный человек. Только если кто-то совершит недостойный поступок, тогда все. Прерываю отношения навсегда.

В Надвоицах мы жили в бараках, топили дровами. Но комната у меня была отдельная. Мы уходили с работы очень поздно. А если балансовая комиссия или производственное совещание, то и в два-три часа ночи. (Тогда Сталин работал ночами, и так жила вся страна.) Приходишь домой — либо топить пару часов, либо ложиться, укрывшись всем, что есть. Вот так. Но работала с удовольствием. Была уверена, что доля и моего труда будет вкладом в светлое будущее.

Не помню, когда сообщили об аресте врачей, почему-то мне кажется, в январе 1953 года. У нас, конечно, было собрание по этому поводу. Выступить предложили молодому прорабу, еврею. Я очень жалела этого юношу. Но почему-то мы не голосовали за «смерть предателям». Как это получилось — просто удивительно, но голосовать мне не пришлось.

В это время со мной завела дружбу одна партийная дама, не помню ни имени, ни должности — типичная стукачка. Но так как я продолжала думать, что выбранный нами путь единственно правильный, ей не удалось вызвать меня на критические высказывания. Тем не менее в один прекрасный день — в конце 1952 или в начале 1953 года — за мной пришли и сказали, что меня вызывают в контору. Это было часов в девять вечера. Печь, которую я только что затопила, пришлось залить. И я отправилась. Мне сказали, что вызывает какой-то уполномоченный. О том, чтобы не идти, не могло быть и речи. Если вызывают — идешь.

Прихожу. Помню — комната метров десять, белые стены, стол. Два человека в штатском и я. Сажусь. В полном недоумении — в чем дело? И вдруг меня начинают расспрашивать про некоего Матвеева, производителя работ на жилищном строительстве. Человек лет тридцати трех — тридцати пяти, женатый, двое детей. Кончил в каком-то районном центре техникум. Вряд ли за всю жизнь он держал в руках книжку или газету. Абсолютно серая личность. Даже тупая.

С Матвеевым я дела имела очень много, потому что курировала жилищное строительство — проверяла ежемесячно (тогда это было очень строго) объемы выполненных работ. Я проверяла его отчеты, насколько они соответствуют нормам, проверяла наряды, которые он выписывал. То есть десять-пятнадцать дней в месяц я проводила с Матвеевым.

И меня начали расспрашивать: с кем он встречается, что говорит. Это было крайне удивительно, тем более, что он ни с кем не встречался и никаких слов, кроме как о досках, кирпиче и прочем, я никогда от него не слышала.

Этот трудный разговор продолжался до утра. Спать я хотела очень, но все же выдержать сутки вполне могла. Но когда меня отпускали домой — это было, вероятно, в половине восьмого, чтобы успела на работу, — мне сказали прийти на завтра в то же время. Это было много хуже.

Итак, день работаю и все размышляю, при чем тут Матвеев. Ну, при чем тут Матвеев? Теперь, когда я столько прочла, для меня ясно, почему Матвеев. Видимо, на него был донос, но настолько невразумительный, что это не могло послужить основанием к заведению дела. Надо было «пришить» что-то еще. А поскольку я с ним действительно все время общалась, выбрали меня (к тому же я — бывшая заключенная).

Вторая ночь. Уже начинаю сильно хотеть спать. Опять вопросы, ответы, вопросы, ответы. Но тут мне заметили: «Вы помните, что вы

были в лагере? (Довольно мудрено забыть.) Это ведь может повториться».

Может показаться странным, но этого я совершенно не испугалась. Некоторые мои близкие друзья, знакомые (да и незнакомые) уже пошли «по второму кругу». Ну, стало быть, теперь моя очередь, вот и все. Но, к сожалению, я не умею управлять своим лицом. Было совершенно ясно видно, что я не испугалась.

Так продолжалась вторая ночь. Все крутилось вокруг Матвеева. Подходил ли он к тому или другому, что вы слышали из его разговоров. На все — нет, нет, нет.

А под конец: «Завтра придете в то же время». То есть в девять часов вечера. Это уже совсем плохо — спать я хочу нестерпимо, двое суток все-таки. Больничный взять не могу, потому что абсолютно здорова. О том, чтобы прогулять или опоздать часа на два, не могло быть и речи, так как еще действовал указ сорокового года, согласно которому час или два опоздания засчитывались как день прогула, а прогул — это от года до семи лет лагерей точно. Стало быть, этот вариант отпадал. Посоветоваться, как держаться, не с кем. Было два человека, которым я доверяла. (У меня какой-то природный инстинкт — знаю, кому можно доверять. Ни разу не ошибалась пока.) Но что они мне скажут? Тридцать шестой, тридцать седьмой год их миновал. Абсолютно наивные люди. Ну, они скажут — держись. Больше они мне ничего не посоветуют. А подходить к ним опасно, потому что я не знаю, сколько за мной глаз следит. Их могут вызвать потом. Спросят — подходила к вам такая-то? Спрашивала о чем-нибудь? В какое я их положение поставлю?

И придумала я наихудший способ. Тот, на котором попадаются многие, — написать нечто, не порочащее Матвеева. Понимала, что могу пойматься, но думала — рискну. Ну нет сил — спать хочу. Поэтому, когда я пришла к ним на третью ночь, я попросила бумагу и стала писать. Писала что-то вроде отчета о выполнении плана — и насколько он его выполняет, и что проверка израсходованных материалов всегда сходится с нормативом, и т.д. Писала я долго, часов до трех ночи. Они ужасно обрадовались и сразу отпустили меня домой. И я в чем была — в шубе, укрывшись всеми одеялами, — заснула (о том, чтобы топить, не могло быть и речи. А в ведре вода замерзла — барак). Таким образом, я себе дала передышку. Это была третья ночь. А потом весь день я очень волновалась — что я написала? Не ляпнула ли я чего-нибудь лишнего? Но оказалось, что, несмотря на то, что это была уже третья ночь, ничего ненужного я не написала, потому что на четвертую ночь, как только я

пришла, мне сразу сказали: «Что же вы написали, какую чушь. Не это нас интересует. И, кажется, у вас в Москве живут сын и мать? Вы не забывайте, что есть еще Сибирь и Красноярский край».

Ну раз заговорили о матери и о сыне, значит, не допустила никакой оплошности.

Ночь опять прошла в вопросах: к кому он подходил, когда он подходил, и прочее, и прочее. Все крутилось вокруг одного и того же. А вот когда наступил пятый день, я стала размышлять (причем еще и работать надо): «Ну что же делать?» И все думаю — не посмеют они написать в Москву, не посмеют. Потому что им не разрешит их начальство. Потому что Москва есть Москва: что же это они не справились с какой-то бывшей заключенной? Не посмеют. Это будет просто позор для них. И все время я себя так настраивала: не посмеют. Весь день прошел в этих размышлениях.

Пятая ночь. Кошмар. Ничего не помню. Ни одного вопроса, ни одного ответа. Как в тумане. Никакого выхода. Но продержалась. А вот на шестой день я поняла, что я в ловушке. Все. Я кончилась. За пятеро суток я спала, может быть, часа четыре... Больше я не выдержу. Ни одной ночи не выдержу. Перед глазами лица сына, матери. Но сын почему-то маленький, совсем маленький, каким я его увидела после лагеря (а в это время он уже был в десятом классе). И я стала искать выход. Но какой? Какой? Что делать? Как держаться? Самое простое я гнала от себя. Наконец нашла. Очень трудно, прямо скажу, было решиться. Но решилась.

И когда пришла, сразу попросила лист бумаги и написала — «сотрудничать не буду». Поставила дату и подпись. Таким образом, я им дала документ против себя. Но на это я шла... Еще когда они мне дали лист бумаги, я увидела, что они довольны, очень довольны. Хотя лица бесстрастные совсем. А вот когда они получили такую бумагу, я поняла, что они растерялись. Что же со мной делать? Стало быть, меня надо сажать. Но такой санкции от своего начальства они, видимо, не имели. Им надо было посоветоваться, что делать. И поэтому меня отпустили домой. Правда, еще целый час возмущались, что это я о себе возомнила?! Вроде как я напрашиваюсь в сотрудники. О сотрудничестве не может быть и речи — бывших заключенных в сотрудники не берут. Но все же отпустили. Я ушла. Проспала всю ночь. А утром пошла на работу и безумно волновалась. Отпуская, они мне не сказали, чтобы я приходила снова.

Ну, время идет, а меня не вызывают. Почему не вызывают? Вдруг попадает в больницу старший производитель работ Веселов. Человек абсолютно здоровый, лет сорока трех-сорока пяти. Никогда

ничем не болел. И вдруг, на тебе, с сердцем в больницу. Не стала я его спрашивать. И наверное, правильно, что не стала. Очень возможно, что после меня приглялись за Веселова. Я уже потом поняла, что с Матвеева только начиналось. Короче говоря, прошло месяца полтора, и я начала более или менее успокаиваться.

И тут — как гром среди ясного неба! Смерть Сталина. Шок. У всех был шок. Как в деревнях, я не знаю, но у нас, тех людей, что работали на строительстве, был. Рушится государство... Но не рухнуло. Очевидно, такой же шок испытали и в органах, потому что настало полное затишье. Затишье и вдруг — бериевская амнистия.

Формально я была «пятилеткой» и имела право получить чистый паспорт. Что это значит? Это значит — в паспорте не будет пометки о том, что он выдан на основании справки об освобождении из лагеря НКВД и инструкции о паспортах, пункт 39. Чистый паспорт мне, конечно, был очень нужен, но я понимала: ехать в Сегеж (райцентр) не стоит — меня опять «зацепят». А в поселке у нас паспорта не выдавались. И тут я выкинула номер — попросила отпуск. Отпуск мне полагался, и мне его дали. Я поехала в Москву и стала ходить на тот самый Кузнецкий мост, 24, куда когда-то ходила справляться о муже. Там было три окошка, сидели три человека — полковники, иногда генералы (в погонах я разбиралась). Прихожу: «Да, полагается вам чистый паспорт (так они назывались тогда), но вы должны его получить по месту жительства». На следующий день я опять пошла. Не знаю, почему, но каждый день они менялись. Новый день — новое лицо. Я ходила двадцать дней. Двадцать дней я получала тот же самый ответ: «Да, вам полагается чистый паспорт, но получайте его по месту жительства». На двадцать первый день мне сказали: «Давайте ваши документы». Я получила чистый паспорт в Москве. И правильно сделала.

Приехала на завод. Отпуск кончился. На следующий день ко мне пришли.

— Вам нужен чистый паспорт?

— Спасибо. Я получила в Москве.

На том история и закончилась. Почему я со своим чистым паспортом не осталась в Москве? Потому что у меня было в прошлом три курса строительного института, девять лет лагеря, год работы слесарем в Белой Церкви, год — рабочей в строительной лаборатории в Мончегорске, год — экономистом в Кандалакше и еще год — старшим инженером в поселке, даже не в городе. Стало быть, в Москве я бы работы не получила. А мне нужно было кормить семью.

Через некоторое время после всех этих событий в Надвоицах пустили первую очередь завода, и я перешла в отдел капитального строительства. Уже старшим инженером. И туда же, начальником секретной части, перешел тот старший опер, который меня допрашивал. Я его встречала на протяжении многих лет в коридорах заводууправления. Иногда в кабинете директора мы смотрели друг на друга, как на пустое место. Он был мне настолько отвратителен, что я начисто забыла его фамилию. Кажется, сейчас он почетный пенсионер Карельской Республики.

А с Матвеевым, знаю, все было в порядке. Одна моя сослуживица мне писала, что он работал прорабом на Украине. Так что Матвеева не тронули. И Веселова не тронули. Вероятно, со смертью Сталина все перевернулось. Я об этом много размышляла. Но это уже потом.

Вместо послесловия

Итак я осталась в Надвоицах и проработала там до 1961 года. Мне шли «полярки», и я оставалась там, пока не обеспечила семью самыми необходимыми вещами — мама и сын раздеты, мебели нет.

Когда был XX съезд, в комнату ворвался начальник отдела кадров и закричал: «Иди скорее в кабинет директора, будут зачитывать доклад Хрущева на закрытом заседании». Люди забывчивы и многие заслуги Хрущева теперь ему ставят чуть ли не в минус. А освобождение десятков тысяч, может миллионов, а реабилитация? Дети репрессированных наконец-то через столько лет почувствовали себя полноправными людьми. А паспорта крестьянам? Моя семья и многие другие ему бесконечно обязаны. Не надо этого забывать, пусть ему зачтется, хотя в чем-то он действительно был виноват.

А мне дали путевку в Чехословакию за счет фонда предприятия. Был 1957 год. У поезда в Праге меня встречал Константин Николаевич, мой отчим. Представляете, подходит элегантный седой мужчина и целует мне руку. А вся наша карельская группа во главе с представителем Интуриста из окон во все глаза смотрят. Картина! И вместо театра я поехала к Константину Николаевичу. Естественно, разговор зашел о моей жизни и работе. Поскольку я была патриотом своего строящегося завода, Константин Николаевич все время восклицал: «Распропагандировали, распропагандировали!» А я никак не могла втолковать ему, что для меня это **мой** завод, что в его строительстве есть и моя доля труда. Я действительно была в этом уверена, да ведь так оно и было. Потом разговор зашел о его предположительном возвращении на Родину — если ему предоставят возможность издавать

собственную газету, то он бы поехал... Слишком долго он был оторван от своей земли, от нашей действительности, и я не могла разъяснить ему ситуацию. Так мы и расстались.

А у входа в отель меня ждали взволнованный представитель Интуриста и староста группы. Вернусь ли?

Теперь два слова о Чехословакии. В 1925 году Чехословакия не произвела на меня никакого впечатления. Прага показалась провинциальным городом. Я еще слишком хорошо тогда помнила Нью-Йорк, Париж, Берлин. А в этот приезд меня, профессионального строителя, поразили в первую очередь чистота, порядок и хозяйское отношение к складировемым материалам. Остальных членов нашей группы удивляла раскованность людей и то, что многие женщины ходят в брюках. В Москве, даже в начале 80-х, женщин в брюках не пропускали в министерство.

В 1961 году я вернулась в Москву. Пошла прописываться. Старик, начальник паспортного отдела сказал:

— Да, имеете право жить в Москве, но должны были приехать сразу после реабилитации. Теперь вы уже постоянный житель Надвоиц.

Потом подумал и добавил:

— Но ведь Вы начнете хлопотать, изведетесь совсем. Давайте я вас лучше пропишу.

Все-таки везло мне на хороших людей. А вот устроиться на работу оказалось очень трудно. Ведь я десять лет проработала в поселке. Кому нужны хорошая характеристика и благодарности в трудовой книжке? Грош им цена для Москвы. Сколько я обошла организаций... Не берут, и все. Наконец, не без посторонней помощи, устроилась сметчиком в ремонтно-строительное управление. Проработала год. И тут мне опять повезло. К нам приходила по делам сметчица из Моспроекта-1. Чем-то я ей приглянулась, и она меня пригласила на собеседование — у них был набор сотрудников. И меня приняли! Наконец — приличная организация. Правда, деньги небольшие, всего 120 рублей в месяц.

Работу свою я любила. Работа состояла в составлении различного рода норм, связанных со строительством. Регламентировалось все, даже глубина погреба в частных домах. Не только нам, рядовым работникам, но и ведущим архитекторам и строителям это казалось совершенно нормальным: в плановом хозяйстве не должно быть никаких отклонений. Вот и пошли безликие, стандартные дома и города. Только не нужно забывать о том, что так называемые хрущевки позволили расселить громадное число коммуналок. До хру-

щевков практически все знакомые жили по целой семье в одной комнате.

Первые годы в Москве были нелегкие. Заболела, слегла и уже не встала мама. В 1964 году я вышла на пенсию — и в этом же году мама умерла. А потом несколько лет подряд я то возвращалась на работу, то увольнялась для ухода за постоянно болеющими и умирающими одинокими друзьями. Когда в 1972 году сын женился, я получила сразу четырехлетнего внука. Стала, параллельно с работой, заниматься и им.

И еще мне хочется поразмышлять вот о чем. Всю жизнь я провела в инженерской среде. К другой у меня как-то доступа не было. Так вот, молодые, наверное, теперь не могут себе представить, как мы тогда ни о чем не говорили или, вернее, говорили ни о чем. Вот жила я в этих самых Надвоицах. Целых десять лет. Библиотеки не было, кино не было. Когда построили книжный магазин, я покупала все что можно и посылала домой ящики с книгами. А так вечера проводила у своих приятелей, и мы на кухне дулись в подкидного и ни о чем не говорили. Ни о чем. Я даже боялась разговоров о работе — нужно же удержаться и не сказать, что кто-то там саботажник и плохо работает. И когда уже после приезда в Москву на работе слышала какие-то разговоры, мне это было как-то странно. Мы, наверное, даже и не думали. Ведь мы действительно были такие, что тут скажешь.

Уже в Москве друзья часто попрекали меня, почему ничего не рассказываю. Но я всегда молчала, даже дома на эту тему не говорила. Я никогда не чувствовала, что я — бывшая заключенная. Просто, когда все это кончилось, начала жить заново — в сорок восемь лет. Я стрезала прошлую жизнь. И все. Ну не было — и конец! И психика у меня здоровая. Даже когда мы, бывшие солагерники, встречались, мы никогда об этом не вспоминали. Мы жили сегодняшним днем.

Да и сейчас. Рассказала своим, но не так подробно, как здесь, — так, какие-то факты. И все. Нет у меня комплексов по этому поводу. Прошло и кончилось. Точка. Хотя сын и говорит: «Рассказывай. И от внука ничего не скрывай».

Но вот наступил 1988 год. В «Литературной газете» сообщили о «Мемориале». Я, как и многие другие, побежала вносить деньги на памятник погибшим. Не берут нигде. Дозвонилась до автора заметки Жана Миндубаева, и вопрос был урегулирован. А потом заполнила две первые анкеты, на себя и на мужа, стала собирать анкеты у всех друзей и знакомых. Так, в одиночестве, прошла зима

1988-1989 годов. Мысль была только одна: «Никто не забыт». О дальнейшем не думала. Но анкеты надо как-то обрабатывать. Пришла в «Мемориал». Не сразу, но получила инструкции и начала работать по составлению картотеки.

Потом я некоторое время ездила и записывала устные рассказы на диктофон. Сейчас я уже не могу ездить — в погоне за продуктами не до рассказов. Вот и взялась за воспоминания.

Почему я так мало написала о лагере и нелегких годах «мину-са»? Наверное, потому, что сознательно постаралась забыть те двадцать лет до реабилитации. В чем, видимо, и преуспела. Ничего особо интересного не всплывает в памяти. Я действительно заставила себя забыть. Все было — и проверки и «шмоны», только «шмоны» у нас были редко. Было и то, что в особо холодную зиму, когда температура в цехе не поднималась выше +3 градусов, нас всех сгоняли в цех, чтобы мы своим дыханием поднимали температуру, до того как начнем работать. А в Москве? Все как в бесчисленных фильмах на производственную тему. Казалось, что делаешь нужное дело, а на проверку сколько проектов ложилось в стол или на полку! Сколько зря потраченного времени и денег!

Вот и получается, что жизнь прошла бессмысленно. А с другой стороны, мое поколение видело и самодержавие, и наш социализм, и видит развал империи. Ни одно поколение в мире не пережило так много. Может быть, у кого-нибудь из стариков лежит рукопись с осмыслением всего пережитого. Только как найти эту рукопись? Сейчас, когда жизнь для меня приобрела смысл благодаря «Мемориалу», у меня уже почти не осталось сил.

Теперь я уезжаю. Уезжаю в страну, которую не люблю. В страну, в которой я не прижилась в детстве, тем паче не найду себе там места в свои восемьдесят три года. Говорят, что США сильно изменились. Вряд ли. Мне за последние два года пришлось разговаривать с несколькими американскими журналистами и тележурналистами, относящимися к нам с симпатией. Но и тогда, в начале двадцатых годов, ко мне относились хорошо, и я встречала достаточно много хороших людей. Но они другие. И мышление и образ жизни у них тоже другие.

Нвук мне говорит, что я напрасно вернулась из США тогда, в детстве. Не знаю. Я прожила нашу беду вместе со всеми. Мне недолго осталось. Как-нибудь доживу.

декабрь 1991 — февраль 1992



Галина Левинсон, 1933 г.



*Г. Левинсон
1948 г., Белая Церковь*



*Г. Левинсон
июль 1955 г., Надвоицы*



*Г.Левинсон с матерью,
М.А.Левинсон-Антоновой.
1958 г., Ялта*



*Г.Левинсон
1992 г., Москва*

Говорит

Тамара Давидовна РУЖЕНЦЕВА

Руженцева Тамара Давидовна (на момент ареста Лазник) родилась 22.11.1917. Арестована 8.05.1938; срок — 5 лет ИТЛ. В 1940 г. лагерь заменен ссылкой. Повторный арест — 1941 г., снова ИТЛ. Места заключения и ссылки — Орлово-Розово, Енисейск, Дальний Восток, Мариинск (3 л/п), Верхне-Чебурлинское (п/я 18). Освободилась в 1946. Реабилитирована 18.07.1956. Живет в Москве.

Я не знаю, будут ли это воспоминания о жизни или о том кошмаре, который мне пришлось пережить. Пока не знаю. Во всяком случае, начну с детства.

Я родилась в семье сухопутного моряка. Мой отец возглавлял один из больших отделов Адмиралтейства в Ленинграде. Мама была домохозяйкой. Еще была сестра, старше меня на пять лет.

Жили мы на Почтамтской. Потом эту улицу переименовали в улицу Союза связи, а когда я в этом году приехала в Ленинград, чтобы привести в порядок могилы родителей (я это делаю каждый год в течение всей жизни, за исключением тех восемнадцати лет, что я была в местах не столь отдаленных и не имела такой возможности), и пришла на свою улицу, я с удовольствием увидела, что она опять называется Почтамтской. Было как-то очень приятно. Почтамтская, дом 5.

Мы занимали целый этаж. Отцу дали квартиру какого-то сбежавшего нэпмана, обставленную, красивую. Правда, отец, несмотря на то, что оценивали мебель очень дешево, все равно до самой смерти выплачивал за эти шкафы, диваны и прочее. Нэпман жил неплохо.

Я училась в школе, что на Исаакиевской площади. Это то здание со львами, где от наводнения спасался пушкинский Евгений.

Гуляла я всегда в Александровском саду. Поэтому, когда я приезжаю сейчас в Ленинград, я не обхожу его, никогда. Я бегала к отцу на работу. Там стояли военные с ружьями, но меня всегда пропускали. Знали, что я папина дочка.



Тамара Руженцева перед арестом

В школе я была страшная хулиганка. Меня даже дважды выгоняли. Первый раз мы с одним мальчиком разорвали стенную газету: она сушилась на рояле, а мы тянули ее каждый к себе, чтобы прочитать. Второй раз я уже не помню, что я наделала. Но в конце концов эту школу я и закончила.

Отец и мать воспитывали меня достаточно строго. Вот характерный случай. В каком-то, кажется, третьем, классе мне поручили собрать деньги на тетрадки, тогда тетради были огромным дефицитом. Деньги я собрала, но вместо того, чтобы сдать их учительнице, проехала на конфеты и пирожные со своими подружками. Учительница какое-то время подождала, несколько раз спросила меня, собрала ли я деньги и почему я их не сдаю. Потом она позвонила отцу на работу и все ему рассказала. Отец просил ничего мне не говорить, прислал растраченные мной деньги, а потом, договорившись с мамой, разыграл целый спектакль.

Отец позвал меня в кабинет, пригласил туда же маму и говорит:

— Знаешь, Анюта, мне позвонила Тамарина учительница и рассказала, что Тамара собрала деньги на тетради и не сдает их, и она не знает, откуда ей взять такие большие деньги и что дальше делать, потому что ребята останутся без тетрадей. Я обещал выяснить, куда делись эти деньги, и потом мы решим, как из этого ЧП выходить.

Врать я не умела и рассказала родителям, как было дело. И вот что они придумали. В течение месяца все в доме сидят на голодном пайке. Детям не дают денег на завтраки в школе, а дают с собой невкусные бутерброды. В доме нет ничего сладкого. Кормят тем, что я не люблю, ну, например, молочные супы, я их до сих пор не ем. И так далее. Конечно, папу кормили нормально, но видимость соблюдалась.

Так прошел месяц. Все смотрели на меня косо. Растрата моя была мизерной, но я тогда мечтала о велосипеде, а мне объясняли, что это очень дорогая покупка и купить мне его не могут. Я верила.

Прошел этот кошмарный месяц. В доме появилась нормальная еда, сладости. Но отец мне сказал тогда:

— Казенные деньги — это не деньги. Никогда их не трогай, даже если будешь голодная.

Я запомнила этот урок на всю жизнь. Родителей я потеряла рано. Мама умерла 26 ноября 1930 г. Мне было тринадцать лет. А папа 27 декабря 1931 г. То есть, через год, месяц и один день после мамы.

Мы с сестрой остались вдвоем. Она, кажется, училась уже в институте. Ей пришлось подрабатывать, чтобы меня кормить. По-

могло знание языков, ее взяли кельнершей в кафе «Астория». Она приносила какие-то закуски, бриоши и кормила меня.

Так мы и жили. Когда началась испанская война, она уехала воевать в Испанию. Их курс, французско-итальянский, быстро переучили на испанский, и они поехали переводчицами. Девочки работали у наших военных советников. Тогда никто не знал, что такие существуют в Испании.

Почему-то сейчас все эти советники получают льготы, а переводчикам, несмотря на то, что их осталось очень мало, ничего не дают. Между прочим, эти переводчики числились офицерами испанской армии. А на родине даже не считаются военными ветеранами.

Ну, что ж, не только это у нас бывает неправильно.

История моего ареста такова. Мне было двадцать с небольшим лет, совсем девчонка. Нужно было уладить кое-какие мои дела, и я поехала в Москву, просить мамину сестру мне помочь. Она не могла ехать в Ленинград сразу и сказала:

— Знаешь, у тебя в Москве есть друзья, ты поживи дня три-четыре, а потом я с тобой поеду.

Друзья у меня, действительно, были, мы где-то гуляли, куда-то ходили. Все было очень миленько. За минувшие годы я их растеряла и, к сожалению, не знаю, какова их судьба.

Но вот наступил самый страшный день моей жизни, 8 мая 1938 г. Этот день я никогда не забуду. Светило солнце. Мы всей компанией собирались идти на день рождения к одной из девочек. Встреча была назначена в сквере у Большого театра. Мне поручили купить в Столешниковом пирожные и бутылку шампанского в магазине неподалеку. И вот с этими покупками я пошла к месту встречи. Но, когда я хотела войти в сквер, из стоящей рядом машины вышел молодой человек в сером костюме, взял меня под руку и сказал: «Пройдемте в машину». Естественно, я решила, что кто-то ко мне пристает, и хотела вырваться. Но он держал меня крепко и, показав свое удостоверение, которое я так и не разобрала, повторил: «Не шумите, идемте в машину». Я испугалась и пошла за ним. Везли меня недалеко, ну, просто рядом, на Лубянку. Маленькая дверь сбоку, совсем незаметная.

Привели в какую-то комнату. Забрали шампанское и пирожные. Потом повели в глубь здания. Там женщина в форме грубо потребовала раздеться. Обыскали. Сначала вещи, а потом был и личный обыск. Он не обошелся без унижительной процедуры, о которой не хочется ни вспоминать, ни писать...

Потом отдали все, кроме пояса для чулок и пояска от платья. И вот в таком виде, со спущенными чулками, я предстала опять перед группой мужчин в форме, в той комнате, куда меня привели вначале. Пирожные мне отдали.

Совершенно растерянную, ничего не понимающую, отвели по каким-то длинным коридорам в камеру. Вели странно. То и дело говорили встать лицом к стене, не оборачиваться. Это за спиной кого-то еще проводили. Перед каждой дверью в следующий коридор раздавалось постукивание ключами о металлические пряжки охранников. Все это было ново, необычно и совершенно непонятно.

Наконец привели. Четыре койки. На двух из них сидят женщины. Одна красивая, средних лет; другая уже немолодая, солидная. Обе спокойны.

Охранник ткнул пальцем в одну из коек и ушел, дверь захлопнулась, он глянул в глазок.

Посидели молча какое-то время. Потом старшая из женщин спросила:

— Ты за кого, девочка, за папу или за маму?

Я ничего не поняла, но ответила, что ни мамы, ни папы у меня нет, они умерли семь лет назад, а я одна, потому что моя сестра уехала воевать в Испанию.

Ночью меня вызвали на допрос. На мой первый допрос. В то время допросы вели только ночью. А днем не давали спать. Это была одна из многих изощренных пыток.

Вообще, если заключенный, уснув, поворачивался лицом к стене, тут же будили и заставляли перевернуться. Охранник все время должен был видеть в глазок лица заключенных. И когда будили одного, просыпались и остальные.

На допрос вели долго. Опять коридоры, лестницы, постукивание ключами о металл, крики «к стене, не поворачиваться». Вели через длинный коридор со множеством дверей. За дверьми раздавались стоны, рыдания. Какой-то мужчина кричал — не бейте... Какая-то женщина умоляла — я все подпишу, только сына отпустите...

Идти по этому коридору было страшно, хотя он был чистый, с высокими лепными потолками, хорошо освещенный. Свет в этом доме вообще не экономили. В камере круглосуточно горела яркая лампочка под потолком. Ну, а на допросах иногда ставили справа и слева от заключенного два софита, которые светили ему прямо в лицо. А сидящий за столом оставался в тени.

Допрос начался с того, что мой следователь объяснил мне, что я английская шпионка, что им все про меня известно и что отрицать

ничего не надо, так как это все равно бесполезно. Только потом я поняла, насколько он был прав. Ведь вне зависимости от того, подписывал арестованный обвинение или нет, все равно всех осуждали и никто из этого дома в свой уже не возвращался. Только одних раньше отправляли в лагеря, других позже; одних били и мучили всяко, унижали и издевались, а другие, подписавшие Бог знает какие обвинения, отправлялись в те же лагеря сразу. Вот и вся разница.

Но это я поняла позже, а в тот, первый, допрос я просто рассмеялась и сказала, что все это чушь, и попросила отпустить меня домой и сначала хорошенько разобраться. Какой я шпион, если папа мой был военный, сестра в Испании, а сама я не знаю никакого языка, кроме русского, и у меня нет ни одного знакомого иностранца.

Конвоир повел меня обратно в камеру, по тем же коридорам и лестницам.

Когда я рассказала про допрос, мои сокамерницы, которые были много опытнее и умнее, начали расспрашивать о том, как я жила, где мой дом, с кем дружу и что в Москве делала. И я похвасталась, что несколько дней назад ходила с друзьями танцевать в ресторан «Националь». А там, кроме нашего джаза, играл английский джаз Бартона, впервые приехавший в страну, — они работали по очереди. В один из своих перерывов к нашему столику подошел английский джазист и на ломаном русском обратился к моему мальчику: «Разрешайт вашу даму танцевайт?» Ну, «дама», естественно, была рада и польщена. Ее кавалер тоже. Танцевала я действительно хорошо. Подведя меня обратно к столику, иностранец поклонился и, сказав: «Большой спасибо», ушел к своему оркестру. А когда у них был следующий перерыв, он опять появился у нашего стола и, улыбнувшись, попросил разрешения потанцевать со мной еще раз. Ну, гордыня обуюла всех моих друзей. Я чувствовала себя на седьмом небе. Он хорошо танцевал. На нас, видно, со стороны было приятно смотреть. За все время он не произнес ни одного слова, только в конце сказал: «Ви очень хорошо танцуйт». И опять подвел меня к столику, поклонился, поблагодарил и ушел. Больше я его не видела и не слышала. Мы скоро ушли из ресторана, договорившись встретиться у Большого театра в день рождения нашей подружки...

До своих друзей я так и не добралась. Шампанское было выпито лубянской охраной, ну, а пирожные мы съели в камере.

Моих сокамерниц редко вызывали на допросы. Одна из них, старшая, была членом Верховного Суда СССР, другая — женой

большого военного, недавно арестованного и объявленного врагом народа (сейчас он уже давно посмертно реабилитирован).

А через десять дней после моего ареста к нам в камеру попала зареванная девчонка. И папа и мама ее были арестованы. Когда ее привели избитую после первого допроса и мы все начали ее спрашивать, в чем же ее обвиняют, она, еще больше расплакавшись, ответила: «Он говорит, что я террорка. А что это такое?»

Так мы и жили в этой камере на Лубянке. Всяческие унижения, невозможность выспаться, ночные допросы и выслушивание каких-то идиотских обвинений, угрозы, оскорбления, избиения... Все было. И все в больших количествах.

Однажды, на вторые сутки непрерывного допроса, под софитами, у меня случилось кровотечение. Кипы ваты лежали на столе у следователя. Когда я падала, меня пинками поднимали. Периодически, взяв кусок ваты, я со стрелком шла в туалет, где мне не разрешали закрыть дверь, и охранник внимательно следил, как я пытаюсь привести себя хоть в какой-то порядок.

Потом у меня начались галлюцинации. Мне казалось, что в соседнем кабинете кричит моя сестра, что ее избивают. В тот момент дежурил самый хороший из моих следователей (такие тоже бывали). Он взял меня за руку и сказал:

— Ну, пойдем. Я тебе покажу, что это не твоя сестра.

Так мы шли по коридору и он раскрывал мне те двери, за которыми мне слышался голос сестры. И с этого трехсуточного допроса меня привели опять в нашу камеру. Но я ничего не подписала. Все еще надеялась, что это ошибка. Что должны разобраться.

Не разобрались. Да им и не надо было. Зачем? Нам ведь только говорили, что человек — это самое ценное.

Меня били, пугали изнасилованием — «очередью», как это называли следователи. Было очень страшно. Меня оставили в покое, только когда я, неизвестно почему, вероятно со страха, нагло сказала: «Говорят, первый мужчина остается в памяти на всю жизнь. Пусть вот ты будешь первый, ты моложе и красивее остальных». И меня отпустили.

А однажды один из следователей назвал меня проституткой. Ну, я запустила в него чернильницей, прямо в лицо, и весь его серый костюм был залит чернилами. Он меня избил до полусмерти и отправил в карцер на десять суток.*

Наконец им, видимо, надоело со мной возиться. Меня увезли в Бутырскую тюрьму. Там было далеко не так комфортабельно.

* Позже этот следователь оказался заключенным того же лагеря, что и Т.Руженцева

Нары в два этажа. Огромное количество людей. Спать можно было только лежа в одну сторону. Если кто-то начинал переворачиваться во сне, то это приходилось делать и всем остальным. Спали на сене, не раздеваясь. Долго никого никуда не вызывали. Не было никаких допросов. Только полная неизвестность и страх — что же дальше?

А дальше было все как у всех. Ничего экстраординарного. Недаром следователь, который вел мой последний допрос, сказал:

— Ну, что ж, тебя легче сломать, чем согнуть. Но все равно ты ничего не изменишь.

И он был прав. Изменить ничего нельзя было. Только смириться, что все и делали.

В Бутырках я пробыла недолго. Ну, может, месяц или полтора. И в какой-то из дней меня вызвали. Привели в большой зал, по стенкам маленькие двери в кабинки. И всех развели в эти кабинки, по одному. Сидеть там было невозможно, только стоять. Можно было опираться на стены. Через какое-то время отекали ноги. И никуда не выводили.

Потом дверца открылась. Повели в комнату, где за большим столом сидело много народа. И объявили мне приговор. Он звучал так: ППШ — 5 лет. ППШ это в переводе на русский язык — «по подозрению в шпионаже». Это даже не статья, это просто формулировка. В тот день всем давали по пять лет. Вообще, там было так заведено: в какой-то день вызывали и давали всем по десять лет, в какой-то — по восемь. Вот такая была система.

Ну, расписалась я за эти пять лет, так ничего и не поняв. Поняла я все позже, уже в лагере.

И отвели всех нас, так сказать, уже приговоренных, в одну камеру. Там мы и ждали отправки на этап.

Что такое этап, рассказывать долго не буду. Не нужно. Посадили в зарешеченные машины. Долго везли. Ничего не видно. Привезли на какую-то станцию. Нет, по-видимому, это была даже не станция, а пути железнодорожные. Посадили в столыпинские вагоны. Ну, и весь этап кормежка была, прямо скажем, сложноватая: давали хлеб и селедку. И упорно не давали воды. Охранники, казалось, получали огромное удовольствие от того, что люди безумно мучались. Есть хотелось, волей-неволей ты ел эту селедку, а потом умирал от жажды. Людям становилось плохо. Были женщины беременные, были старые. Ни о какой медицине речь не шла.

Везли долго. То и дело стояли на запасных путях. Выводили только на оправку, и то не когда тебе это было надо, а когда удобно стрелкам.

Привезли в Сибирь. Лагерь Орлово-Розово, недалеко, кажется, не то от Новосибирска, не то от Красноярска. Это были сельскохозяйственные лагеря. Здесь сидели и политические, и уголовники. Мы не были изолированы, как «жены врагов народа», они содержались совершенно в других условиях и ни в какое сравнение с нашими это не шло.

Работали в свинарниках. Был страшный голод. То, что нам давали, это вообще нельзя назвать едой, и мы воровали у свиней мороженую картошку. Если удавалось принести в барак пару краденых картошек и горстку отрубей, это был праздник, великое счастье.

Маленькая вставка. Когда я вернулась из лагерей и первый раз приехала к сестре в Москву, я ей сказала, что, если в доме есть картошка и немного муки, я могу приготовить очень вкусную еду. Ну, она мне дала и муку, и картошку. И я, памятуя, как в свинарнике «заваруха» котировалась, приготовила это блюдо, считая его действительно прекрасным. Теперь можно над этим смеяться, а тогда было не до смеха. По-моему, сестра, прячась от меня, плакала, а я никак не могла понять, почему эта еда уже не кажется такой вкусной.

В первые же дни в лагере какие-то воровки украли у меня вещи. Все теплые вещи. Поэтому я ходила страшной оборванкой, мерзла очень. Уже дело шло к зиме, одежды не было, еды не было...

И первая моя любовь пришла ко мне почему-то именно там. Однажды мне передали записку от заключенного, такая стандартная любовная записка, чисто лагерная: «Давай с тобой жить, и я буду тебе помогать». Конечно, на записку я не ответила.

А там можно было через какие-то загородки проскочить из мужской зоны в женскую. Однажды какие-то парни схватили меня и затащили в сапожную мастерскую. И передо мной предстал автор записки — заведующий этой мастерской. Молодой, красивый парень, очень интеллигентного вида.

У него было вольное хождение, это такой пропуск, по которому он мог выходить за зону. Жил он в мастерской за занавеской, а остальные сапожники, работавшие под его началом, жили в бараках и в мастерскую приходили только на работу.

И вот завели меня за эту занавеску, и все ушли. И тогда он сказал: «Будешь со мной жить или не будешь?». Я сказала — не буду. И тогда он избил меня «лапой». Если кто не знает, что такое сапожная лапа, — это железная палка, на конце ее как бы ступня. Шрамы от этой лапы на спине у меня по сей день.

Потом он взял меня за руки и отнес в больничку. И сказал там врачу и медсестрам:

— Эту девку вы мне выходите. Она моей будет.

Отношение к нему было почтительное, потому что он мог шить очень хорошие сапожки, а в лагере это огромная ценность, и вольнонаемные, которых он обшивал, делали абсолютно все, что он просил.

И, действительно, выхаживали меня очень хорошо. А он еще с воли приносил и масло, и картошку немороженую, и еще еду кое-какую.

Поправилась я довольно быстро, и меня выписали. Я понимала, что все равно должна идти в его мастерскую, иначе он меня просто убьет. У меня не было выхода. Пришел он за мной и повел к себе, в свой «вигвам».

Началась моя семейная жизнь. Саша оказался хорошим парнем. Отец его был художник, да и сам он по-лагерному был «художник», то есть, фальшивомонетчик. Сперва научился делать мелкие купюры, потом крупнее и сидел за это уже второй раз.

У меня сразу началась материально хорошая жизнь, потому что я числилась уборщицей в мастерской и Сашиной лагерной женой. Так что меня все очень уважали. Я поправилась, ходила в красивых сапожках, уже не носила черт знает какие отрепья: у меня была новая телогрейка, новые брюки. В общем, я была экипирована на славу. У меня даже новая шапка была. И питалась вполне нормально.

Так продолжалось месяцев восемь. Саша мечтал о том, как мы будем жить на воле, как его родители меня полюбят, что мы будем учиться и что все еще у нас впереди. Ну, в общем, мечты...

Шить обувь он очень хорошо научился и считал, что для лагеря это незаменимая специальность. Это действительно так. С этим можно было жить и, главное, выжить.

Вот так, счастливо, в любви и с надеждами на совместное будущее, мы прожили какое-то время. Много было планов, много мечтаний. Нам казалось, жизнь у нас будет счастливая.

Как-то на меня обратил внимание плюгавый и очень противный вольнонаемный, офицер. (У меня, как и у Саши, тоже был вольный пропуск, поэтому я могла выходить за зону.) И вот он меня поймал и буквально изнасиловал в каких-то кустах, и сказал:

— Твоего Сашку я завтра отправлю на этап. А ты будешь жить со мной.

Начался кошмар. Потому что через пару дней он Сашу в самом деле отправил, и больше я о нем никогда ничего не слышала. Для меня это была огромная трагедия. Уверена, что и для Саши тоже.

Я не хочу сказать, что это была материальная потеря. Я просто любила этого человека. Это была первая, настоящая любовь. В общем-то, первая и последняя любовь в моей жизни.

Потеряв Сашу, я вынуждена была жить с этим подонком, у меня не было выхода.

Он начал приводить меня к себе домой. Это было самое ужасное. Потому что у него была очень милая жена и двое маленьких детей. Он приводил меня в свой дом, заставлял ее подавать мне еду, выгонял ее с детьми на улицу. Было противно и очень страшно.

Как-то мы остались с нею вдвоем, его куда-то вызвали ненадолго, я ей начала говорить какие-то слова, что я, в общем, не виновата... А она мне в ответ:

— Ты только, ради Бога, ничего плохого ему не делай. Пожалуйста. Потому что он и тебя сгноит, и у меня жизни не будет. У меня ее и так нет, но у меня двое детей, и он их обеспечивает. Давай уж будем терпеть все это вдвоем. Я знаю, что он подонок и очень мстительный, он отомстит и мне, и тебе.

Вот так мы с ней поговорили. И так и терпели все это. Единственно, что он сделал хорошего, так это перевел меня в КВЧ (культурно-воспитательную часть), где он был начальником. У меня оставалось вольное хождение, была лошадка, на которой я, верхом, объезжала разные объекты, развозила газеты, иногда табак. В общем, жила почти нормально. Контачила я со всеми бандитами, которые были в мужском лагере; они относились ко мне вполне хорошо. Я их не боялась, а они мне доверяли.

Так и жила. А потом меня вдруг посадили в теплушку и под сильной охраной куда-то повезли.

Везли долго, в жутком телячьем вагоне. Привезли в город, оказалось, что Красноярск. Посадили в зарешеченную машину; вскоре остановились на площади. Завели в красивое здание, на первый этаж. Охрану, к их большому недоумению, отпустили. А мне предложили сесть. Придвинули ко мне бумажку, попросили расписаться и говорят: «Вы свободны». Я сначала не поняла. Мне опять говорят: «Вы свободны. Вот вам деньги и можете идти, куда хотите. Заберите справку об освобождении. Но в Ленинград вам ехать нельзя. Поезжайте в Енисейск, там найдете жилье и работу. Идите. Вы же свободны. Только когда приедете в Енисейск, сделайте отметку в органах НКВД, что прибыли».

И я поняла, что меня освободили и посылают на так называемое вольное поселение. Там каждые две недели я буду обязана отмечаться, расписываться в каком-то журнале, что я никуда не делась.

Вышла я с этой бумажкой и с узелком лагерным на площадь, сделала несколько шагов, оглянулась — никого: ни стрелков, ни собак. Пошла быстрее, опять оглянулась — никого. Побежала по улице. Никто за мной не гонится, никто не кричит: «Стой, стрелять буду!»

Только тут я осознала, что произошло. Сначала я зашла в магазин и купила себе кое-какую одежду и небольшой чемоданчик. Потом пошла в баню. Потом в парикмахерскую, потом в ресторан, что-то поела нормальное. Вышла, посмотрелась в зеркало и себя не узнала. Чистый, причесанный, одетый — приличный человек. Вот тогда я пошла на вокзал и купила билет до Енисейска.

В Енисейске сняла комнату, устроилась на работу маникюршей, хотя делать этого совсем не умела. Научилась. И даже неплохо справлялась. Еще подрабатывала стиркой на чужих людей. Когда я, прополоскав белье, развешивала его на берегу Енисея, прохожие говорили: «Это Тамарка-ссылная стирала, у нее всегда белье кипельное (белое, то есть)».

В Енисейск ко мне приезжала сестра, это было через несколько дней после объявления войны. Ей пришлось тут же уехать обратно в Москву, мне как-то удалось достать ей билет на самолет до Красноярска. Виделись мы всего три дня. Она привезла мне целый чемодан вещей, на все сезоны. И я опять осталась одна в этой ссылке.

Не помню точно, когда, кажется, осенью 41-го или весной 42-го, меня опять арестовали. На сей раз была формулировка «до особого распоряжения». И повезли меня в трюме парохода на какие-то лесозаготовки, куда-то очень далеко. Как этот лагерь назывался, тоже не помню. Меня слишком много били и на Лубянке, и в Бутырках, и на этапах, и в лагере. Память отбили основательно. В особенности на даты и названия тех мест, куда меня гоняла судьба. Скорее, не судьба, а сталинское правление. Правители четко знали, что они делали со своим народом. Теперь нас осталось всего ничего. Но зато, если молодое поколение не хочет повторения тех ужасных лет, они сохранят наши воспоминания и сделают для себя выводы — не допустить расстрелов, выдуманных врагов народа, искалеченных судеб...

Тот этап был еще страшнее, потому что нас везли по воде. Загнали в трюм, не кормили, воздуха не было; люди умирали пачками, была дизентерия. Меня Бог уберег, я выжила.

Привезли на лесозаготовки. Вот уж тут я познала все: валила лес, голодала. Работа была жутко тяжелая. Многие погибли — оттого, что никто толком не знал, как надо валить лес. Мы не знали, с какой стороны надо подрубить деревья, как дерево может «сыграть».

Там было плохо. Очень плохо. Когда нас выводили на работу, у ворот, справа и слева, стояли стрелки с собаками. И каждый день старший из них произносил одну и ту же фразу: «Шаг вправо, шаг влево считаю побег. Пущаю оружие без предупреждения». Только после этой молитвы ворота открывались и мы стройными рядами выходили за зону.

Работали от темна до темна. Были случаи, охрана расстреливала заключенных. И нельзя никому об этом сказать, хотя вызывали многих. Надо было отвечать — пытался бежать. Иначе на следующий день тебя ожидала та же участь. Еще наши стрелки развлекались тем, что командовали: «Лечь, встать, лечь, встать...» А так как было сыро, грязно и холодно, то мы на работу приходили уже измученные и мокрые. И в таком виде нужно было работать до темноты.

У меня разыгралась куриная слепота. Это такое заболевание, когда человек после захода солнца ничего не видит. И так до восхода. И вот тут мне очень помогали совершенно незнакомые люди. Они, так сказать, подставляли плечо. Я никогда не знала, с кем рядом стою и кто меня ведет на работу, с работы. Спасибо им, этим людям, они спасли меня от расстрела.

Г.И. А теперь давайте уточним некоторые подробности. В вашей справке о реабилитации указано, что Постановления Особого совещания от 38-го и от 40-го годов отменены за отсутствием состава преступления. Что произошло?

— По-видимому, в 40-м была замена приговора. Может, сестра хлопотала. Ей даже какой-то прокурор сказал, что я приеду в Москву раньше, чем придут документы. Но она получила от меня телеграмму, что меня сослали в Енисейск. И когда она к нему вновь пришла, он ей сказал, что теперь ничего не сможет сделать.

Г.И. То есть, короче говоря, вместо освобождения вам заменили остаток лагерного срока на ссылку.

— Должно быть.

Г.И. Теперь, пожалуйста, расскажите о ваших скитаниях после того, как вас освободили.

— Наверное, это был 1946 год. Потому что сообщение о конце войны я услышала еще на лесоповале. И все мы, огромное число людей, несколько тысяч заключенных, прилепили себе кто красный бантик, кто маленькую красную косыночку, кто полоску красную на рукав. У всех ведь были какие-нибудь красные тряпки: у кого юбка, у кого кофточка, у кого рубашка или трусы. И в таком виде, с такими вот украшениями, мы вышли на развод. Картина была

очень интересная: стоим, под руки взявшись, и на каждой женщине что-то красненькое. Победу же объявили. А перед нами стрелки с автоматами и собаками. Начинают орать, что мы враги народа, что Победа нас не касается и что это не наш праздник; чтобы мы немедленно сорвали с себя все красное. А мы, взявшись под руки, стоим перед ними. Стрелки идут на нас с собаками и оружием, а мы — навстречу. Вот так, плотной толпой.

Они отступили. Видимо, испугались такого единения. Всех перестрелять нельзя было. А по отдельности стрелять просто глупо. Да и, вероятно, в тот момент мы бы их смели с лица земли. Никакие пулеметы им бы не помогли.

И нас повели на работу.

Г.И. Ну, а потом?

— После освобождения я поехала на Дальний Восток. Почему, не помню. Ну, надо было куда-то ехать, и поехала. Во Владивосток. Никакой работы там не нашла, конечно, прописки тоже не было. Поэтому, когда объявили набор на краболов «Чернышевский» (это был роскошный пароход), я туда завербовалась. По-видимому, там не хватало рабочих рук, и нас туда тоже брали. Я там провела одну путину. «Чернышевский» только что пришел из ремонта из-за рубежа, даже с запасами продовольствия. Поэтому там была хорошая кормежка. Ну, и крабами мы побаловались, не то что сейчас. Мы ели только левую клешню, это самый деликатес. Очень вкусно.

Вообще, я там прошла абсолютно весь процесс приготовления крабовых консервов, кроме ловли крабов, потому что ловлей и первоначальной разрубкой занимаются только мужчины. Также очень интересно: крабов ловят на свет. Ставят сети с фонарями внутри и отходят, опять ставят в новом месте и отходят опять. А потом возвращаются и эти сети, уже с крабами, вытаскивают на борт корабля. А все остальные операции делали в основном женщины. Там целая система, все не так просто. Идет конвейер, и в каждую коробку кладутся отдельные части краба, в строгом порядке. Эти части уже сварены и разделаны. Потом все идет в запечатку, в автоклав. Краболов очень глубокий, примерно этажей восемь. Ящики с запакованными в них консервными коробочками укладываются сначала в самый первый, самый нижний отсек. Потом этот отсек задраивается, и укладка идет в следующий, и так до самого верха. А когда весь краболов уже наполнен, он возвращается на базу.

Потом начались очередные мытарства. У меня был большой «минус», кажется, 59. И с этим «минусом» я моталась по всему

Союзу. Чтобы поступить на работу, нужна была справка, что ты прописан. Ну, а для того, чтобы прописаться — справка, что ты работаешь. Вот так это лихо придумали. Поэтому ни в одном городе по-человечески устроиться просто нельзя было. И мне пришлось переезжать из одного места в другое. Где-то работу находила временную, где-то жилье. Какие-то городки в Сибири, а некоторое время я проработала в Небит-Даге, машинисткой. Этой профессии я выучилась сама.

А потом мы с сестрой решили, что мне все-таки надо двигаться в Россию, поближе к Москве и Ленинграду.

И я поселилась в Подмоскowie. Иногда приезжала в Москву, естественно, тайно, реабилитации еще не было. Сестра жила в обычном доме, не ведомственном и не кооперативном, их тогда еще не было. На Зубовском бульваре. Лифтерша, в прямые обязанности которой входило докладывать о жильцах, по отношению к нам вела себя вполне прилично. Она обычно прибежала и говорила:

— Спрячьте куда-нибудь Тамару, потому что идет проверка паспортов.

Когда я первый раз приехала в Москву, сестра мне устроила «фестиваль искусств». Театры, выставки, концерты. Ни одного дня я не сидела дома. А вот во второй раз, примерно через год, было совсем по-другому: сегодня сидим дома, приходят какие-то ее друзья, завтра сидим дома — опять друзья. На четвертый день я не выдержала и говорю:

— Рита, вот в тот раз я приезжала, ты мне доставала билеты туда-сюда, а сейчас я сижу дома сиднем, с твоими друзьями. Почему так?

А она в ответ:

— Томочка, ты не обижайся. Дело в том, что когда ты приехала в прошлом году, ты была такая лагерница, что мне было просто стыдно показывать тебя своим друзьям. Ты почти ни одной фразы не произносила без мата, у тебя был абсолютно лагерный жаргон. А сейчас ты уже немножечко пришла в себя и опять становишься интересным человеком. И мои друзья хотят с тобой общаться. Ты уж на меня, пожалуйста, не обижайся.

Так что повторно «фестиваль» у меня уже не получился.

Г.И. Скажите, пожалуйста, на вашей сестре ваша отсидка никак не отразилась?

— Отразилась. И даже очень. Дело в том, что когда она вернулась из Испании, то ее вызывали несколько раз и требовали, чтобы она от меня отказалась. А она была представлена к каким-то орде-

нам. Но поскольку она не согласилась отказаться от меня, то ее всех этих завоеванных в Испании наград лишили.

Моталась я по Союзу вплоть до реабилитации. А после 56-го мне разрешили вернуться в Ленинград. Я ведь коренная ленинградка, меня только арестовали в Москве.

С большим трудом я получила комнату в коммунальной квартире. И начала работать и жить в своем родном городе. Потом уже я обменяла эту комнату на Москву, чтобы быть поближе к сестре.

И профессию я приобрела сама. Машинистка. Начала секретарем, а потом стала в своей профессии вполне квалифицированным работником. Я уже могу не только печатать, но и редактировать. Много лет я работала с Виктором Борисовичем Шкловским; работала и с нашими ведущими сценаристами. Мне семьдесят два с половиной года, а на пенсию я ушла в пятьдесят пять. Но все равно все эти годы продолжаю работать.

Ну вот — живу. Работаю в «Мемориале». Я расшифровываю магнитофонные записи рассказов репрессированных. Все эти люди старые; или это их дети, которые тоже не юноши. Я не могу вылезти из состояния той жизни. Я все время к ней возвращаюсь. Правда, ничего нового я не узнаю, ну, разве незначительные детали. Все это я прошла сама. У нас у всех судьбы в общем-то одинаковые, одинаково исковерканные.

Когда сестре вручали мою справку о реабилитации, ее попросили извиниться передо мной за ошибки прошлого. И вот по сей день я пытаюсь их извинить, но только у меня ничего не получается. Я ничего не могу простить. Потому что после смерти отца я мечтала стать хирургом. Он умер в одночасье, от сердечного приступа. Тогда это называлось «грудная жаба», теперь инфаркт. И, видимо, потому у меня возникло решение стать хирургом и делать операции на сердце. Но вместо того, чтобы стать хирургом, а у меня хорошие руки, и я, может, была бы хорошим хирургом, вместо этого я хорошая машинистка.

Ну, что? Прощать? Прощать исковерканную жизнь? Семьи нет. Детей нет. Мне в свое время отбили все, что можно было отбить. Я считаю, что это просто несправедливо — прощать. Я бы все-таки хотела, чтобы передо мной не формально извинились. Я понимаю, нельзя вернуть ни молодость, ни здоровье. Поздно. Но у нас о компенсациях пишут — и в «Огоньке», и в «Аргументах и фактах», и в «Комсомольце» писали, кажется. Где только не пишут. И ничего не делается.

Правда, позвонили по телефону и сказали, что меня прикрепят к другой поликлинике, не то старых большевиков, не то ветеранов. Никакого сравнения с районной. И вот восемнадцать лет я была «врагом народа», потом очень много лет вообще никем, а теперь я за два дня могу пройти диспансеризацию, без очередей, в красивом здании, где чисто, врачи внимательны, сестры не хамят — как в сказке. А у меня это вызывает чувство несправедливости и какого-то унижения. Мол, на тебе на старости лет кусок с барского стола. Почему? Почему мне эти блага не дали раньше? Почему их не дают всем людям? Почему это я вдруг стала такая заслуженная? А остальные? Плохо все это пахнет.

Конечно, это очень удобная поликлиника. Врач приезжает через два-три часа домой, кардиограмма тоже. Анализ крови с предупреждением по телефону «завтра утром приедем кровь брать, пожалуйста, не ешьте ничего до нашего приезда». Но ведь так должно быть в обычной районной поликлинике. И чувствую я себя как-то неловко от всего этого. Неловко перед теми, которые мыкаются по районным поликлиникам; неловко за тех, кто как кость голодной собаке выдал мне этот пропуск в нормальную, а не какую-то особенную, жизнь.

Я, наверное, стала злым человеком. Меня жизнь сделала такой. Я не виновата. Потому что по сути, по натуре своей я добрая.

Нас ведь, в конце концов, осталось не так много. Ну, потрясли бы партийную кассу, она бы не обеднела. А люди моей судьбы, у которых все было отнято, хоть в конце жизни не думали бы о том, что на себя надеть да на обед приготовить.

Вот я сейчас живу на девяносто семь рублей и 73 копейки. Это же смешно при нашей жизни. А между прочим, выдали бы нам хотя бы по тысяче рублей за год. Я бы совершенно не возражала получить восемнадцать тысяч. Я бы себя почувствовала Крезом. Ведь что такое 97 рублей? В наше-то время!

И еще одно я хотела бы сказать. Когда я была в ссылке, меня дважды в разных маленьких городках вызывали в органы и предлагали «сотрудничать». Докладывать о том, что говорят мои знакомые и друзья. С кем они общаются, что думают. В первый раз я отказалась и уехала из этого городка. Но, может, кто-то из ссыльных проговорился, куда я уехала. Второй раз я сбежала, уже никому не говоря, куда. Таким образом меня оставили в покое. А обещали и работу, и постоянную прописку, и какие-то дополнительные к зарплате деньги. Все это ужасно противно.

И в Москве, уже после реабилитации, меня дважды вызывали в какую-то квартиру, в обычном доме, и предлагали то же самое. Я опять отказалась, естественно. Думала, что у меня будут неприятности, но ничего не случилось. Меня просто оставили в покое. И я даже не вспоминала об этих эпизодах. Вот только сейчас, поскольку это, в общем-то, исповедь, вспомнила.

Ну, теперь время другое. Надеюсь, что ни со мной, ни с другими ничего подобного не случится.

Запись сделана 26 августа 1990 г.

Говорит

Наталья Силовна ШЛЕГЕР-ЗАСКАЛЬНАЯ

Герой рассказа Н.С.Шлегер-Заскальной — ее отец. Заскальный Сила Данилович родился в 1897 (?). Арестован 14.02.1933. Места заключения и ссылки — Суздальский политизолятор, Архангельск, Вологда, Александров. Повторный арест — 1937. Умер в апреле 1938, предположительно в Магадане, п/я АВ-261. Реабилитирован 12.11.1956.

Кое-что я помню сама, кое-что по рассказам, а кое-что уточняла у Натальи Львовны Сысоевой, или, как мы ее зовем, Талочки, моей, так сказать, названной сестры, «сестры по 37-му». У нее тоже были арестованы родители, оба, а родители наши дружили.

Сысоевы жили в проезде Серова, в большом доме, ну, в том, в котором жил Маяковский. И вот 14 февраля 1933 г. там устроили засаду. Пришли за Ириной Алексеевной, талочкиной матерью, которая ни к какой партии не принадлежала, но что-то когда-то сказала о Ягоде. Вот они и устроили там засаду.

Брали всех, кто туда приходил. И молочницу там взяли, и каких-то знакомых, случайных совершенно.

И потом, как Талочка рассказывала, она услышала стук, каким обычно стучался в дверь мой отец. Она еще подумала: хоть бы он ушел. Но тогда мой отец позвонил. И его взяли. И маму мою взяли, она тоже там оказалась.

Это был первый день, когда меня из детского сада никто не забрал. Потом за мной пришла моя двоюродная бабушка Шлегер (чей букварь был первым в Советском Союзе). Несколько дней я жила у нее.

Их всех увезли на Лубянку. Сколько они там были, я не знаю. Маму выпустили через несколько дней. Она рассказывала, что ее заставляли писать донос на Ирину Алексеевну. А для мамы Ирина Алексеевна — это был лучший друг, она ее очень любила.

И вот мама просит у них бумагу, садится и пишет — что-то вроде своих деловых планов (мама моя была педагог, работала с больными детьми, у нее даже книги выходили).



С.Д.Заскальный, 1935-36 г. Москва (перед последним арестом)

А про Ирину Алексеевну она им сказала, что это прекрасный человек и плохое о ней писать невозможно. Все это страшно злило следователей. И все-таки маму выпустили.

Что я помню из детства? Когда мы с мамой вернулись домой, у нас все было разворочено. Ведь прошел обыск.

Мама говорит, что они очень долго возились, перетряхивали все наши книги, а больше у нас ничего не было, только книжные шкафы, как и сейчас, да игрушки детские. Видно, очень устали. Забрали у нас пишущую машинку, портрет моего деда, который умер молодым и которого я не знала; он был революционером и организовывал первые революционные кружки в Самаре вместе с Лениным. Об этом есть в двух книжках — «Ленин в Самаре» и «Революционная Самара». Взяли фотографию потому, что у него было аристократичное лицо, очень. И, заодно, взяли фотографию П.И.Чайковского — там была надпись по-английски. Они сказали — белая кость — и тоже забрали. Больше у нас нечего было забрать.

Через некоторое время, когда мама принесла и показала книгу «Революционная Самара», фотографию деда отдали. Отдали и Чайковского. Машинку, конечно, не вернули.

Это то, что я помню. Еще у меня есть фотография, я вам показывала, которую мой отец пронес по всем своим трудным дорогам.* На ней я в четыре года и брат, который на восемь лет меня старше. А на обратной стороне фотографии даты: где эта фотография с отцом побывала, что-то вроде хронологии. Начинается она с Бутырок: «Москва. Бутырки, 28 мая 1933 года». Но, как я теперь поняла, после разговоров с сестрой, ну, с Талочкой, сначала была Лубянка. Потом уже он был в Бутырках, и «28 мая» написал, видимо, уже после того, как он там посидел.

Помню, как мы с мамой ходили в Бутырки. Мы жили рядом, на Новослободской, просто напротив. Правда, я больше помню, как мы в очереди стояли.

А вот брат рассказывает такую историю. Мама взяла его на свидание. А он всю жизнь любил акробатические трюки разные, и в Бутырках тоже выделывал всякое: на перилах на руках стоял и т.д. И вдруг на свидании отец ему говорит (а там ведь и надзиратель был):

— Вока, а ты не разучился на руках ходить?

— Конечно, нет.

Тут же перевернулся и на руках подошел к отцу. А отец в это время наклонился, у него как бы развязался шнурок, и незаметно брату что-то сунул в руку.

* См. стр. 93.

Я вообще поражаюсь, что у меня брат такой оказался, не растерялся ничуть, ведь ему было тогда всего двенадцать. В общем, он это дело зажал в кулак и, когда они уже дома развернули, это была свернутая папиросная бумажка со списком — фамилии арестованных, кого отец знал.

И еще такой характерный эпизод. Как-то, буквально накануне ареста, отец провожал меня в детский сад, а мы проходили всегда мимо тюрьмы, и я спросила:

— Папа, а что будет, если там вдруг случится пожар?

Я была страшно этой мыслью напугана. Запало мне это в память.

А на другой день отца арестовали.

Теперь я просто дам хронологию, по фотографии, где она побывала. Отец начал записывать перед тем, как его из Бутырок забрали, 28 мая 1933 г. Затем идет Владимирская тюрьма — 29 мая. Потом Суздальский политизолятор — 2 июня 1933 г. — 12 февраля 1934 г. В Суздаль ездила мама (и у меня есть письма, которые я считаю историческими документами). Далее опять Владимирская тюрьма, то есть 12-го он в Суздале, а 13-го, все очень оперативно делалось, он уже во Владимирской тюрьме. (Как объясняла мне моя сестра, им тогда дали приговор на год. А ее маму выпустили.) 15 февраля он снова в Бутырках, а 19-го уже в Архангельске, в ссылке. Но там почему-то он очень мало задержался и 4 марта оказался уже в Вологде. Вот там я у него была целый месяц и очень хорошо все помню.

1936 год, 9 мая, Москва. Отец приезжал сюда незаконно, нельзя ему было. Буквально на несколько дней. Мама в это время болела, лежала в больнице. Она вообще очень тяжело болела все время, и я оказалась с отцом. Этот период я тоже хорошо запомнила.

А затем Егорьевск — 20 мая (то есть он в Москве практически не был) и 28 июля 36-го — Александров. И все.

В 1937 г. его арестовали опять. Знаю только, что мама получила письмо, кто-то выбросил из вагона, и там был просто папин портрет, нарисованный каким-то художником. Мама говорила, что это было так страшно, что она мне его не показала. Возможно, мама его даже уничтожила. Не знаю.

Нам сказали, что десять лет без права переписки. Так мы его все годы ждали, надеялись: вдруг вернется. А потом мы получили, уже после реабилитации, справку, что он умер в 38-м, где-то на Колыме.

Вот что прошел мой отец. Такая вот хронология. И то же самое, ну, может, немного с другой географией, у Ирины Алексеевны Сысоевой, которую арестовали вместе с отцом. Я вам потом зачитаю письмо отца, из которого мы узнали о судьбе Ирины Алексеевны.

Отец прекрасно рисовал. Трудно сказать, какая у него была профессия. К моменту ареста вышло уже две или три его книги по народному театру. Он работал с В.Д.Поленовым, вот пейзаж, видите? Там дарственная надпись Поленова. А у меня есть письма от Ольги Васильевны Поленовой, дочери Василия Дмитриевича, она пишет там очень подробно об их отношениях.

И вообще, что же такое был мой отец? Есть у меня начатые, но неопубликованные его работы — так сказать, просветительского плана: для календаря революционных дат, культурных дат. Он был популяризатором театра, занимался режиссурой. Дружил, например, с А.Д.Поповым — еще со времени постановки «Виринеи» в студии имени Вахтангова. И фотография есть, с надписью.

Отец очень много занимался кукольным театром, работал с Образцовым. Насколько я помню по своему детству, образцовский театр начинался у нас, на Новослободской. У нас была одна большая комната и выгороженный из нее одеялом так называемый мамин кабинет. Вот это-то одеяло и стало первой ширмой их кукольных представлений.

Они были тогда дружны. Некоторое время отец даже работал в театре Образцова. Может быть, в музее. Я не знаю. Когда меня некуда было девать, отец брал меня на репетиции. Там на стенке висел групповой портрет; была и папина фотография. Поэтому, когда я читала последние воспоминания Образцова, меня очень удивило, что он не сказал ни слова о моем отце.

После того как отца забрали, Образцова мы больше не видели и не слышали. Думаю, он даже по нашей улице боялся пройти. Хотя они были близкими друзьями.

Но когда мы вернулись из эвакуации, а приехали мы буквально в лаптях, разутые и раздетые, мама позвонила Сергею Владимировичу: у нас был огромный архив отца. И Образцов пришел к нам. Это я хорошо помню. Он пришел и купил у нас весь архив для музея. Мне особенно было жалко великолепную марионетку. Такая большая кукла... Но жить нам надо было — мама больная и я девочка, — и мы продали. Он еще говорил:

— Наташа, я же тебя на коленях качал, приходи к нам в театр, тебе всегда туда дорога открыта.

А в театр тогда безумно трудно было попасть.

Когда же надо было оформлять бумаги, я пришла в музей. Меня там встретил заведующий музеем, очень пожилой человек, который помнил моего отца, и он мне сказал:

— Наташа, вас обобрали.

И все. Я и в театр к ним не пошла, и Образцова больше не видела. Это, пожалуй, единственный из друзей, который так себя повел. Остальные, наоборот, всегда помогали чем только могли.

Николай Александрович Попов, например, оставался другом отца до последнего. Он работал еще со Станиславским, был актером, режиссером, театральным деятелем. Это он во время войны спас архивы Театрального общества. Когда было бегство из Москвы* и жгли документы, Николай Александрович (ему было тогда семьдесят лет) заперся в кабинете и не выходил оттуда несколько суток. Таким образом, он спас архивы ВТО, а теперь вот они сгорели.

Это был потрясающий человек, для нашей семьи особенный. На следующий день, как забрали отца, он прибежал к нам, принес деньги и сказал:

— Вот все, что у меня есть.

И до конца своей жизни и он, и его жена, Нина Александровна Лядова, прелестный человек, актриса, она работала на радио, оставались очень близкими нашими друзьями. Я даже считалась секретарем у него.

Мама работала на двух работах. Меня воспитывала няня (потом она жила в деревне и до самой своей смерти оставалась мне родным человеком). Вскоре вернулся с фронта брат.

Да, очень интересно, как попала ко мне та фотография, ну, которая с хронологией. И еще кое-какие мелочи, какие у меня есть от отца. Вот иконка маленькая...

Когда мы приехали из эвакуации, в 43-м или в 44-м году, мы вдруг получили письмо, очень простым почерком написанное, видно, что писала малограмотная женщина. И она пишет, что у нее жил Сила Данилович до ареста, что она его хозяйка. «Я до сих пор молю Бога, чтобы он вернулся. У меня остались кое-какие не ценные вещи, если они вам нужны, то приезжайте, потому что я уже старая. А Сил Данилыч, я считаю, был святой человек, и мне бы хотелось, чтобы эти его вещи сохранились». Письмо было из Александрова.

Мне было тогда лет пятнадцать. Я хорошо помню, что тогда еще нельзя было купить билет, но я поехала, я с детства такая авантюрная. Полдороги я проторчала в туалете или в тамбуре. Как возвращалась обратно, не помню.

И я пришла к этой женщине. Совершенно удивительная женщина. Когда забирали отца и был обыск, она быстренько все эти мелочи — маленький мишка плюшевый, которого я ему туда послала, иконка, фотографии какие-то, письма, — связала и спустила в туалет на веревочке.

* 16 октября 1941 г.

Она мне много рассказывала об отце, говорила, что таких людей она не видела, и очень верила, что он вернется. Удивительная женщина. Я потом ей отправляла посылки, писала. Еще я помню, она мне говорила, что к ней приезжает очень много людей — она умела гадать, заговаривать и так далее. Кого надо, говорила она, могу и приворожить.

У нас было много друзей арестовано, а жили мы, я уже говорила, напротив Бутырок. И если вдруг выпускали кого, появлялись у нас, потому что к нам недалеко, только перебежать дорогу. День-два ночевали, на стульях; зимой мы старались их во что-то одеть, что-то из вещей отдавали. Помню, мама жалела только об одной вещи. У нее был пуховый платок, она его дала какой-то женщине, а та, вероятно, не смогла больше прийти.

Г.И. А вот к вам в дом приходили люди, вы не знаете, кто они были? Принадлежали они к каким-нибудь партиям? Или знакомые по работе отца, по театру?

— Нет, нет, нет. Единственное, что я помню, бывала такая Вера Владимировна Рихтер, какой-то крупный деятель у эсеров. А про остальных я просто не знаю.

Да и отец был связан не только с театром. Он был очень разносторонний, я даже не знаю, какое у него было образование. Одно время, помню, когда я училась в образцовой школе, он у нас преподавал физику.

До войны в нашем доме, это уже без отца, собирались по субботам друзья. Называлось это субботники. До сих пор те, кто жив, вспоминают эти дни с большой теплотой. Всегда приходил очень близкий друг отца Сергей Сергеевич Базыкин, искусствовед, довольно известный тогда. И он, и мой отец по игрушке работали. (В 1941 г. его посадили, и он погиб.)

Собирались, играли, пели. Соседи наши по коммунальной квартире, люди простые, всегда удивлялись, что у нас так весело, а никакого вина нет. К нам относились очень хорошо, ничего плохого я не могу сказать.

Среди гостей была и моя названная сестра, Талочка — Наталья Львовна, и, бывало, приходила ее подруга — Наташа Козицина, это внучка скульптора Волнухина, чей памятник первопечатнику. А отец ее был художник Козицин. Жили они там, где магазин «Чай» на Кировской. Она была моей первой учительницей музыки; ей надо было подработать, а меня решили немножко образовать. Мы с ней дружили. Она была ровесницей моего брата, то есть лет на восемь-девять меня старше. Она хорошо пела, у нее был прелестный, хоть

и маленький, голосок, она училась в Гнесинском, потом бросила и перешла в архитектурный. Это еще до войны.

Потом, когда я вернулась из эвакуации, мы снова стали общаться и с ней, и с ее мамой. (Отец ее уже умер.) И вдруг однажды приходит к нам Мария Кузьминична, так, кажется, ее маму звали, и говорит:

— Наташу арестовали.

Наташа училась тогда, по-моему, на втором курсе. Арестовали, оказывается, потому, что за стенкой у них жил человек, который предложил Наташе сотрудничать или сожительствовать, ну, что-то в этом роде, и, главное, его очень привлекала их комната. И потом даже выяснилось, что он приставлял там подслушивающее устройство, и чуть ли не главным обвинением было то, что они говорили, что триста граммов хлеба на иждивенца мало.

И мне, тогда еще девчонке, поручили обойти всех наших знакомых, всех друзей и предупредить, чтобы к ним на квартиру не приходили. И вот я помню, с какой гордостью я это поручение исполняла. И потом я все время ездила к Наташе в тюрьму. Она сидела в Бескудниково. Сейчас даже никто не знает, что там была тюрьма. (А вначале ее посадили в Бутырки, с уголовницами.)

Вышла она в сорок пятом году по амнистии. Причем, тоже для меня памятная дата. Это было 13 сентября, день моего рождения. Мы сидели, что-то ели, кажется, винегрет. Были друзья, была Наташина мама. Мы знали, что Наташу должны выпустить. И Наташа знала, что мой день рождения и что мы тут соберемся, и ее мама тоже будет. И вдруг звонок, и входит Наташа — в телогрейке. Удивительно изысканная, женственная, несмотря ни на что. Сидела, курила.

Потом ей было очень тяжело: пришлось с квартиры выехать, потому что жить в Москве было нельзя. Потом случилась трагедия: у нее погиб сын. Но это уже другая история.

Я считаю, что в моих руках имеется уникальный документ. Это письма, которые папа писал мне из Суздаля. Писал девочке четырех с половиной лет. Их надо видеть. Потому что это — произведение искусства. Видите, все письма с картинками, с иллюстрациями, со стихами, с его собственными сказками. Суздаль — это ведь политизолятор. То есть, в то время из политизолятора еще разрешали посылать письма. И даже, когда выводили гулять, отец там сделал гербарий такой — великолепную книжку, и тоже ее прислал. Ему, может быть, больше разрешили, потому что он там отстранировал всю библиотеку. У него были очень хорошие руки, он все книги им переплел. (Заключенным разрешали тогда читать в политизоляторе. Это было до убийства Кирова.)

Однажды, когда мы еще не знали, где Ирина Алексеевна, пришло мне письмо. А писал он на таких вот клочках, видите, какие крошечные, это вообще как спичечный коробок. И вот он пишет:

«От папы Наташеньке. Письмо пятнадцатое.

Дорогая моя художница, Наталия, свет, Силовна, что я тебе расскажу:

Слушай!
Небо сине.
Солнце ярко.
Захотелось Ирине —
Подарка.
— «Милая Ирина!
Пожалуйста скажите,
Какого подарка
вы хотите:
Занятную игрушку?
Проказника Петрушку?
Веселую книжку?
Маленького Мишку?
Цветок ли прекрасный?
Бант ли красный?
Куклу? Собачку?
Папифос пачку?
Плитку шоколада?
Коробку мармелада?
Не стесняйтесь,
мне не жалко
для Вас подарка! »...

Всюду иней.
Солнце ярко.
Не хочется Ирине
Моих подарков —
ни банта, ни книжки,
ни цветов, ни мишки,
ни собачки, ни игрушки,
ни проказника Петрушки,
ни папифос, ни шоколада
Ей не надо!
Небо сине.
Искры снежинок.
Наташенька!
Хочется Ирине
твоих картинок.
Всюду иней.
Очень красиво.
Нарядно.
Наташенька!
Пришли Ирине!
Она просила...
Ладно?!..

Вот. А еще я хочу обнять тебя крепко-крепко. А ты обними крепко-крепко знаешь кого? Маму! Воку! Катю! Бабу Лику! Тетю Зину! Дядю Володю! Дядю Сережу! Тетю Валю! Аленку! Дядю Борю! Тетю Катю! И поздравь их с наступающим Новым Годом!»

И сразу же стало понятно, что Ирина Алексеевна находится в Суздале.

«г.Суздаль. Суббота 8 июля 1933 года.

Милая моя дочка, дорогая Наташенька, получил я твое письмо. Ты пожалуйста не думай, что я позабыл, сколько тебе лет. Не позабыл я, а ошибся. А знаешь, о чем я думаю сейчас? О том, как мне ответить тебе, когда я в Москву вернусь. Трудный ты мне задала вопрос. И придумал я тебе сказочку, коротенькую-коротенькую — короче твоего носика. Слушай:

Поймала девочка жука, посадила в стеклянную банку, положила туда крошек, травки, цветочков и воды чистой на блюдечке. А банку книжкой накрыла и в сад играть убежала. Подлетел комарик к банке и запищал звонко-звонко:

— Жук, жук, где твой дом, когда в него воротишься?—

А жук по стеклу лапками карабкается, крылышками машет, крошки перебирает и гудит в ответ:

— Все-то я, комар, занят, все-то мне некогда. Как освобожусь, так и ворочусь.

Так и я тебе, дочурка, как тот жук ответить могу:

— Все-то я, Наташенька, занят, все-то мне некогда. Освобожусь, — ворочусь, а до этого никак не смогу...»

«От папы Наташеньке... г. Суздаль 1933 г. окт. 17

Здравствуй, дорогая Наташенька, спасибо тебе за картиночки, Ты очень хорошо их рисуешь [я ужасно рисую, просто ужасно] и я все получил. А ты моих картинок не нашла в письме? Мама говорит, что вероятно, я позабыл их положить. Не знаю, может быть и я стал такой же рассеянный, как тот, что с улицы Бассейнной, про которого ты рассказывала. Помнишь? Чтобы в третий раз не позабыть, я прямо на письме тебе нарисовал кружку, из которой я пью чай, а утром — толокно, и чайную ложечку, которой я сахар размешиваю. Сейчас эта кружка пустая, и чтобы она не пылилась я ее опрокинул. Она стоит всегда на моем столе — стол я не нарисовал... а возле кружки я кладу чайную ложку.

Только вот чего я боюсь: нарисовать-то я нарисовал, а вдруг письмо позабудет ее взять с собой или по дороге потеряет... Что тогда делать?!

Наташенька, Мамуля мне написала, как ты побоялась сказать, что я в Суздале, в политизоляторе, чтобы твоя руководительница не подумала, что твой папа бандит. Что ты дочка? Да разве бандиты в политизоляторе бывают? Да разве бандита пустят в политизолятор? Никогда не пустят. У нас нет ни одного бандита — это все знают, и руководительница твоя тоже знает. Ты посмотри, в вокином письме, какой у нас чайник — большой, блестит как зеркало; а рядом с ним маленький чайничек фарфоровый, в нем мы чай завариваем. Красивый чайничек? У нас дома есть такой? А теперь, ну-ка, поверни листочек этот, что на обороте нарисовано, как ты думаешь? Внизу? Это наша солонка — красивая? Она на полочке стоит, а когда мы обедаем или ужинаем, то ставим ее на стол. Ну, вот. А ты думала, что в политизоляторе и бандиты бывают. Что ты, что ты?! Ну, дочка моя маленькая...»

Все письма прекрасно написаны и прекрасно оформлены. Вот еще одно. Мне очень тяжело его читать. Это уже когда кончается его политизолятор.

«...Наташеньке. Письмо шестнадцатое.

Дорогая моя дочурочка! Давно я не писал тебе и даже соскучился. Как ты поживаешь? Я слышал, ты собиралась ко мне в гости приехать, но пока еще нельзя, может быть можно будет летом. Скоро и я уеду из Суздаля, только не знаю, куда. Буду жить у чужих, в чужом городе, в чужой квартире. И знаешь, чего я боюсь? Боюсь я вот чего: поселюсь я где-нибудь в чужом доме, и будут там маленькие ребятки, как ты, только тоже чужие. Хорошо, если они добрые будут и ласковые, как ты, и не будут на меня сердиться. А что делать, если там будет девочка сердиткой? Вдруг рассердится на меня за что-нибудь и скажет: «Уходи из нашей квартиры! Это не твоя, а наша квартира!» Очень я этого боюсь. Только знаешь, что я придумал? Я такой сердитке скажу: «Ай-яй-яй, как же тебе не стыдно, такой маленькой и гнать меня?! У меня у самого есть доченька, зовут ее Наташенькой. Только моя Наташенька — девочка распрекрасная, добрая, ласковая, никогда не сердится даже, ни на Воку, ни на Катю, ни на кого. Она бы не только не прогнала меня, но даже книжку бы почитала мне. Вот она какая!

Ну, сердитке станет стыдно, и она не будет меня обижать...»

— Не могу больше читать...

Запись сделана в ноябре 1989 г.

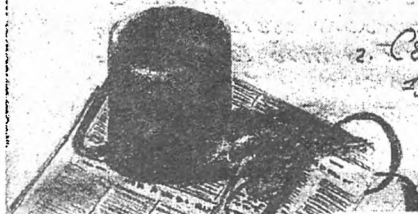


Наталья Шлегер-Заскальная с братом Владимиром (Вокой), 1932-33 г. Кашира

от Папы
Натташеньке

Письмо
Звездочке

2. Создана
1933. Окт.
17



90
Зд. +
оде
Ешь, и я все по
их картинок
и с? Млад. 20/31

от Папы
Натташеньке

Письмо
Шестое
Поздравительное
НОБ.



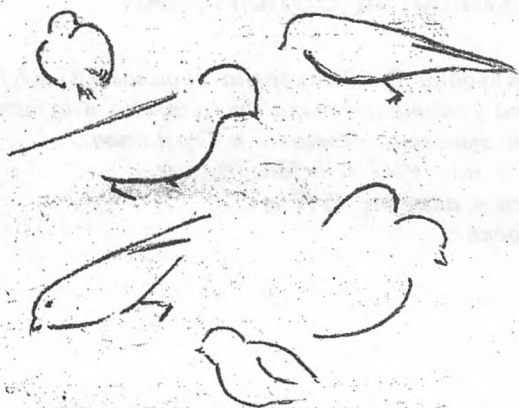
Создана
8 октября 1933.



О Роза
Натта
шенька!!

и да!!

19-46



Повернулся... Так и не вышло
у меня воробушка, который
был бы похож на воробья, а не
на гайку, и не на голубя, и не на
попугая.

Очень все же смотрю на них, ког-
да они кормятся и разговаривают
между собой. Удивительно, как они
могут мотать бывшие крышки: ка-
бык мохнатый, кроху ете-але уха-

Говорит

Альдона Владимировна ВОЛЫНСКАЯ

Волынская Альдона Владимировна родилась 17.04.1926. После ареста родителей была отправлена в детский дом, оттуда вывезена немцами в Германию. Арестована в мае 1947 г. в Магдебурге. Освободилась в августе 1947 г. Живет в Москве.

Мой отец Волынский Владимир Александрович, настоящее его имя Балтрус Матусявичюс,* был арестован в августе 1937 г. в городе Истра Московской области, где в то время работал первым секретарем райкома партии. В 1938 г., 10 февраля, его расстреляли.

Моя мама Лиходзиевская Эмилия Иосифовна** получила повестку явиться в НКВД.

До этого, в связи с арестом мужа, она была исключена из партии и снята с работы инструктора Красногвардейского райкома партии г. Москвы. Пошла работать весовщицей на фабрику бумажных изделий («Бумиз»). В партии ее восстановили, но через три месяца пришла повестка.

И вот, получив повестку, она надела свое платье шерстяное выходное, взяла документы и ушла.

Вначале я не испугалась. Была в школе, за квартиру заплатила, потом с девочками на бульваре играла. И вдруг прибежали соседки и говорят, что я должна идти домой. Оказалось, за мной приехали.

Меня спросили:

— Есть у тебя бабушка? Где она живет?

Я ответила, что бабушка у меня есть и живет она в Белоруссии.

* Матусявичюс Балтрус (в России был выдан паспорт на имя Волынского Владимира Александровича, под этим именем и был арестован), родился 2.01.1899. Арестован в августе 1937. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован (посмертно) 16.03.1957.

** Лиходзиевская Эмилия Иосифовна, родилась 2.02.1903. Арестована 23.05.1938, ст. — ЧСИР; срок — 5 лет ИТЛ. Места заключения — Караганда, Соликамск. Оsv. 23.05.1943. Реабилитирована 03.09.1956. Умерла 24.12.1985.



А.В.Волынская, 1993 г., Москва

Сказали:

— Поедешь к бабушке.

У меня какая-то тревога закралась, потому что как я могла поехать к бабушке, если они даже адреса не спросили.

Посадили меня в «эмку» и увезли — в Даниловский детский приемник. Там уже были другие дети, и я узнала, что у них тоже родители арестованы. У нас у всех сняли отпечатки пальцев, сфотографировали в профиль и анфас, как положено поступать с преступниками.

Условия были нормальные, комнаты большие, со сводчатыми потолками, и кормили неплохо. Нас, детей, было в это время немного там, это еще не был период массовых репрессий, такая была полоса.

Пробыли мы в приемнике недели две, а потом нас — человек восемь — отвезли в «воронке» на вокзал: оказалось, отправляют в детский дом к Черному морю.

Когда нас везли в поезде, было много конфет. Какие-то мужчины и женщины нас сопровождали. У мужчин, вероятно, было оружие. Внешне они старались выглядеть штатскими, но видно было, что охранники. Нам строго приказали говорить, что мы отличницы и едем в «Артек».

Нас привезли в детский дом, «Березки», Первомайского района Одесской области. Собралось нас там четыреста человек — дети репрессированных. Пробыли мы там всего два месяца.

Потом нам сказали, что этот детский дом будет отдан детям из Испании, и нас по сорок человек распределили по разным детским домам. Я думаю, чтобы не концентрировать детей репрессированных в одном месте.

И вот нас привезли в Новоукраинку Кировоградской области. Там, у излучины реки, рядом с мельницей, в бывшем помещичьем имении и был наш детдом.

В 1933 г. во время голода очень много детей умерло, и трупы их сбрасывали в одну яму. А потом над этой ямой выросла груша, мы ее видели. Груша была большая, но она никогда не плодоносила, не цвела даже.

Когда мы приехали, первое, что нас ужаснуло, была столовая. Стояли уже накрытые столы, и в каждой тарелке плавало несметное количество мух. Первый раз мы, несмотря на то, что проголодались с дороги, есть не стали.

Потом уже мы не обращали внимания ни на мух, ни даже если тебе кто-нибудь плюнет в тарелку: отодвинешь ее — суп доедят другие.

Кормили нас хуже некуда.

— Что на обед? — спрашивали мы у тех, кто приходил на вторую смену уже из столовой.

— Цыганское сало.

Это значит: половинка луковицы и кусочек черного хлеба.

В седьмом классе я вся была покрыта струпьями. Мария Ивановна из детской больнички говорила:

— Что я вас мажу зеленкой? Вам мясо есть надо.

В струпьях ползали вши. Вообще вшей мы били каждый вечер. Сиделись в рабочей комнате вокруг керосиновых ламп и били. Я, большая уже, вынуждена была остричься наголо.

А Мария Ивановна нас спасала. Добудет бутыль с рыбьим жиром и говорит:

— Не ешьте хлеб, приносите ко мне.

Хлеб с рыбьим жиром нас и поддерживал.

Кроме того, нам было очень трудно морально, потому что если кто-то другой получал двойку, это была обычная двойка, а если кто-то из нас, то вызывали на комсомольское собрание, хоть мы и не были комсомольцами — нам говорили, что мы недостойны этого звания. Каждый обязан был выступить и сказать, что вот мы — дети вранов народа — и получаем двойки.

Все время грозили лишить переписки, да и присланное не отдавали. Однажды мамино письмо я случайно нашла: мы играли, нам нужна была бумага, и я полезла в шкаф, в канцелярии, и там увидела конверт с маминым почерком, даже несколько конвертов. Значит, мама уже не раз писала, письма выбрасывали, а конверты почему-то там завалились.

И бабушку я нашла случайно. Еще из дома я взяла какие-то нитки. И когда размотала один клубок, там был конверт с бабушкиным адресом. (Потом я узнала, что бабушка хотела меня взять к себе, даже ездила к Калинину, но с ней и разговаривать не стали.)

Но самая большая беда пришла, когда началась война. Пришли немцы, и вот мы должны были уехать, но сбежала директор детского дома Полина Евгеньевна Панасенко, украв у нас вещи, мыло, материал, предназначенный выпускницам. У Эльвиры Юян, латышка она была, из Москвы, — скрипку, у меня — мамин крепдешинный отрез, мне соседка пихнула с собой, когда меня забирали. Все это она украла и сбежала.

Осталась Лариса Антоновна Шадурская, завуч. Она собрала старших (мне было уже четырнадцать лет) и сказала:

— Очень много маленьких. Войны начинаются и кончаются. Вы, старшие, можете умереть, но обязаны сохранить жизни младших.

И мы стали работать. Работали в поле, в соседнем колхозе, урожай в том году был очень хороший. Нам даже дали свинью за

работу. Нужно сказать, что мы стали хорошо питаться. Все мы, детдомовцы, жили в пионерском лагере, и у нас там было большое хозяйство. Там мы до морозов и оставались. А в наших домах были немцы. Но мы в город не ходили. Потом нам эти здания возвратили, и старшие поехали готовить помещения, отмывать от постоя немцев. Мы там мыли, убирали и переехали на зиму на свои места.

И снова мы работали. Я, Эля Юян, Наталка Ляшко работали в прачечной, причем завуч сказала, что она нас оформила на полставки, то есть мы официально были трудоустроены. Стирали мы простыни, вручную, на деревянных досках. Носили по семьдесят ведер воды ежедневно из речки. Это в гору, высоко.

Однажды перед ужином слышим крик: пленных гонят! Мы все побежали туда и увидели: через реку, вброд, шла колонна. Впереди немцы, за ними — люди в нижнем белье, коммунисты и евреи, как говорили. И остальные.

Их было очень много.

На наших глазах нескольких застрелили. Первого — еще у реки: он наклонился, чтобы напиться, и раздались выстрелы. Кто-то упал, а сзади напирала и напирала, кто-то еще падал, кто-то поднимался, а кто-то нет. Это первое, что нас ошеломило. И осталось в памяти.

Дорога вела в гору, и пленные шли по ней, колонна за колонной. В хвосте, как обычно бывает, плелись совершенно обессиленные; иногда двое тащили одного, буквально у него ноги по земле волочились.

Помню военного, в офицерской форме, в синих брюках, с совершенно седой головой. Шинель у него сзади была приподнята и завернута. Ну, знаков отличия, конечно, на нем никаких не было. Шел он в конце колонны, видимо, ослабел совсем. И вот уже и вторая, и третья колонна прошли, и поднялись в гору, и люди стали неразличимы почти — сплошная серая масса, а седая голова его все виднелась.

А еще мы видели венгров, в желтой кожаной одежде, это были танкисты. Они тоже стояли и смотрели. У одного пожилого человека из глаз текли слезы. Товарищи пытались его увести, а он все не уходил. Это длилось долго, потому что мы бегали и все кого-нибудь звали:

— Иди посмотри, как плачет венгр.

Смотреть на него было больно, щемило душу. Мы, хотя и маленькие были, но все понимали.

Пленных гнали три дня. Охраны было немного, какие-то обозники, старые. Они боялись, чтобы колонна не разбежалась, поэтому, когда кто-то из деревенских бросал в толпу хлеб или другое съестное и получалась свалка, немцы начинали стрелять. И колонна двигалась дальше. В конце каждой колонны ехал пулемет на повозке.

А наши мальчишки делали вот как: высмотрят самого ослабевшего, забегут в толпу и прямо в руку ему сунут хлеба. И свалки таким образом нет. И вообще на них, на мальчишек, не обращали внимания.

А женщины украинские несли и несли, что только можно.

Но были и какие-то парни молодые украинские. Они стояли и предлагали обмен: за какой-то кусочек тыквы просили ремень, нож. Но это не возле нашего дома было; наши ребята с ними быстро разобрались.

Согнали их в Адабаш, лагерь за железной дорогой. Питания там не было никакого. Говорили, что им дают похлебку из неочищенного проса.

Но немцы разрешили нам передавать еду в лагерь. Каждый день мы ходили по городу с повозкой, читали молитву и просили дать что-нибудь. Что давали, несли на эту повозку. И вот эту милостыню мы и передавали пленным.

Вскоре на ремонт моста еще военнопленных пригнали, казахов. Мы и их подкармливали, варили им тыкву, иногда хлеб давали.

Наши ребята, которые носили в лагерь еду, рассказывали, что там, за колючей проволокой, люди под открытым небом лежат. И были они настолько обессиленные, что многие тут же, на земле, умирали. Там и случаи каннибализма бывали. Сама я этого не видела, но рассказы помню. Подтверждали их и военнопленные, которые потом работали у нас в детдоме.

Вообще, через некоторое время женщинам разрешили брать пленных к себе. Вот два дня он поживет у нее, а потом она дает ему одежду и отправляет к нашим. И в детдом приходили за одеждой для них, и мы давали.

Но вскоре в городе появились другие военнопленные, тоже наши, но одетые в немецкую форму, только ярко-ярко зеленую. Может, это была форма уже списанная и перекрашенная, Бог ее знает. И что самое интересное — ходил с ними один немец, конвойный. Он пел «Катюшу», «Тачанку» и другие песни, не выбрасывая ни одного слова. Так и пел: «Комсомольская тачанка...» Он запевал, по-русски, без всякого акцента, а они все подхватывали.

Видимо, их очень хорошо подкармили, потому что все они были какие-то даже растолстевшие. Иногда они ходили по городу без охраны.

Мы учились в городской школе и как-то были у одной девочки, и туда зашли трое таких пленных. Лидина мама сразу стала их кормить. Они едят, а она на них скорбно смотрит, у нее муж в армии, и говорит:

— Что ж, вы моего мужа пойдете стрелять?

А они отвечают:

— Нет, мать, нам бы только добраться до фронта.

И опускают глаза.

Неизвестно, какая у них дальше судьба была, остались ли они с немцами или сумели «добраться до фронта», никто не знает.

Это трагедия.

Но вот немцы сказали, что те, кому исполнилось шестнадцать лет, должны добровольно уехать в Германию. Сначала эта группа ходила на строительство моста, потом их отправили. Мы их провожали. (Когда настала наша очередь, нас уже никто не спрашивал: добровольно; не добровольно. И слова такого не произносили.)

В сентябре, но не первого, а чуть позже, открылась школа, мы пошли в восьмой класс. Директор был новый. В школе читали «Отче наш», крестики всем повесили.

Были слухи, что теперь учеников бьют. Вот украинские дети рассказывали (мы ходили в разные школы) — в школе номер пять их били линейками. В нашей школе не били. Один раз, правда, директор на наших глазах несколько раз ударил одного мальчика.

Был у нас учитель, он ходил в немецкой шинели, может, он был немцем, но, скорее всего, украинец. Он говорил с сильным западным акцентом. Так вот, однажды этот «немец» принес на урок десятирублевую бумажку и на портрет Ленина показывает:

— Скажи «собака», скажи «собака».

Было очень страшно, но он, хотя никто так и не сказал этого, улыбнулся и ничего нам не сделал.

Потом его и еще нескольких других, кто с Западной Украины приехал, немцы повесили (с табличкой «партизан» на груди). Говорили, что они за «самостийну Украину» боролись. Но боролись они с немцами.

И вместо него пришла другая учительница.

В школе теперь стояли румыны. Мы, впрочем, уже не ходили в школу. Ходили только маленькие, они продолжали учиться. А мы работали, я уже говорила, работали в прачечной.

Вот так мы провели зиму. По словам Ларисы Антоновны, немцы сказали, что они ничего не будут у нас забирать, но и давать ничего не будут. Вот мы и работали — как следует, на себя. И питались неплохо.

В одну ночь забирали еврейских детей. Куда забирали, кто, мы не знали. Пришли полицейские, немцев не было.

А до этого забрали немецких детей. И даже одна девочка совершенно не знала, что она немка. Это просто по спискам было известно. Забрали немецких детей и увели. Они жили с какой-то женщиной, прибежали к нам, говорили, что кормят хорошо, но что неинтересно там, скучно.

И когда забирали еврейских детей, мы тоже как-то не волновались. Ну, подумали, что они где-то отдельно будут. Конечно, мы не предвидели такой ужасной трагедии. Но каждый из нас стремился что-то отдать. Кто открыточку, кто платочек. Я помню, у меня был деревянный чемоданчик. Я отдала этот чемоданчик. Каждый кому-то что-то дарил.

Потом мы узнали, что их согнали в гетто, а вскоре по городу прошел слух, что всех евреев расстреляли.

Ларису Антоновну Шадурскую после войны приговорили к пятнадцати годам тюрьмы. Это та завуч, которая сказала, что нужно спасти маленьких. Что ей инкриминировали? То, что она отдала еврейских детей; что она била детей. Ну, насчет била — это смешно, а насчет еврейских детей, так она просто отдала списки в Управу, а в списках была указана национальность. Ну кто мог предвидеть? Зато эта Панасенко, которая над детьми издевалась и обворовала нас всех, она, может, где-то еще живет-благоденствует.*

А в 42-м меня и других, кому исполнилось шестнадцать лет, отправили в Германию. По дороге сопровождавшая нас женщина (она сказала, что она фольксдойчен), отобрала человек десять-пятнадцать и велела перейти в другой вагон. Мы перешли. Потом, когда проезжали город Губен, она говорит: быстренько прыгайте и бегите туда, за забор. И привела нас на биржу труда в городе Губен.

Как мы потом догадались, она нас просто продала хозяйкам. Украла с этого эшелона. Мы должны были ехать в Кёльн.

Я попала к хозяйке, в магазин, это была фирма фрау Каттнер. Пожилая женщина, которая Гитлера, видимо, в душе не принимала, потому что, если приходил кто-нибудь и говорил ей «хайль Гитлер», она говорила «здравствуйте» или «доброе утро».

Конечно, я не знала немецкого языка, наша учительница нам только «зецен зи зих, битте» говорила — садитесь, пожалуйста. И вот, когда я уже в этом магазине работала, входит старушка и я вижу, что она хочет сесть, я встала и говорю: «Зецен зи зих, битте». Ну и сразу завоевала симпатию у старушек.

Я не могу сказать, что хозяйка относилась ко мне плохо. Нет. Платила мне, правда, не сразу, но сколько обязана была платить, а потом даже прибавила, сказала, что хорошо работаю.

Работа была всякая; я убирала, мыла, фасовала товар, носила мешки. В воскресенье меня отпускали, и я шла к другим девочкам — из нашего детского дома нашлись Эля Юян, Наташа Ляшко и Айна

* Автору стало известно, что после войны П.Е.Панасенко работала директором санатория, где тоже проворовалась и, по слухам, повесилась.

Саулит, они тоже работали у хозяев. Мы ходили на «Борзиг»,* там был лагерь угнанных в Германию.

И в один прекрасный день ко мне пришли Эля и Лёля. (Лёля не из детского дома). И они сказали, что Лёля поссорилась с хозяйкой, даже ударила ее и они решили бежать.

А мы уже и до этого говорили о побеге, потому что нам сказали, что раз наши родители арестованы да еще там узнают, что мы в Германии, то наших родителей расстреляют.

Это был конец 42-го или начало 43-го года. Зима. Или перед Новым годом или сразу после.

Мы убежали втроем. Купили билеты и приехали в Берлин. Думали, что там в какой-нибудь лагерь вольемся. Но встретились с русскими девочками, уборщицами. Они сказали, что это невозможно: там переключки и, вообще, нужны документы. А мы-то свои документы еще в Кёльне порвали.

Опять купили билеты, поехали дальше. Раз была проверка, мы как-то пересидели в туалете, потом пошли в другой вагон, даже первого класса, по-моему. Так мы переехали бывшую границу между Германией и Польшей и на территории Польши остановились. Здесь началась серьезная проверка документов. Но мы сбежали и дальше пошли пешком. Шли по направлению к России. Но линии железнодорожные расходились в разные стороны, и куда было идти, мы не знали.

Мы были очень голодные, и пить хотелось, и пошли мы в деревню польскую. У Эли Юян мать была заведующей польским сектором в Институте коммунистических меньшинств Запада, и Эля хорошо говорила по-польски. Однако говорить с нами не стали. Идите, сказали, вон там комендатура, вон там староста. Идите и с ним говорите.

Мы прошли несколько домов, нигде нам ничего не объяснили, ничего не сказали. Даже не дали поесть.

Тогда мы решили вернуться к поезду. Увидели, что состав еще стоит и что охрана уходит. И мы подумали, не попробовать ли проскочить и проехать дальше. Но один полицейский обернулся и увидел, что мы садимся в поезд. И нас арестовали. Мы сказали, что мы из детского дома и что мы оттуда сбежали. Не знаю уж, поверили нам или нет, но отправили на этап, в тюремных вагонах.

Везли нас в разных поездах, в разных городах мы останавливались. Всего мы прошли шесть тюрем. В некоторых мы были по две недели, в некоторых по месяцу. Нас не разлучали, мы все время были вместе.

* Крупная немецкая фирма, так же назывался и лагерь.

Помню тюрьму в городе Касселе. Почему я ее запомнила? Она была разбомблена, все было обгорелое — и ложки, и миски... И там очень хорошо кормили. Мы тогда первый раз наелись досыта.

Ну, в каждой тюрьме что-то помнится. Помню беременную женщину — у нее ребенок прямо ворочался.

Приехали мы в Кёльн, дело было вечером. Окружили нас собаками, повели. Привели в лагерь. И почему-то в барак, где были одни француженки. Они сказали нам, что места на нарах нет, ложитесь на столе. Мы легли, а они погасили свет и стали молиться. В белых рубахах и как-то подвывая. Это было очень страшно. И тут началась бомбежка. И охрана стала нас выгонять. Мы пошли. Бомбы чуть не на нас падали. Согнали в бомбоубежище, но все разбежались кто куда. А когда бомбежка закончилась, нас стали с собаками собирать и снова привели в лагерь. Пробыли мы там всего одну ночь.

Из этого лагеря нас привезли в гестапо. Ну, душа ушла в пятки, когда мы увидели, где находимся. В гестапо мы провели трое суток. Сидели в подвале. Там была одна молодая русская женщина (вообще русских встречалось много). Она говорила, что ее муж испанец, что ее не трогают, но мужа каждый день избивают и она слышит его крики. Мы и сами их слышали.

Эля и Лёля ей все-все рассказали, кто мы, откуда. Я им говорила, нельзя этого делать, может быть, она не та, за кого себя выдает. Но девочки — они ей очень поверили. А у меня ангина была тяжелейшая, спорить сил не было.

А потом нас вывели в коридор; там стояли мужчины, женщины, ну, человек двадцать. И какой-то немец, в коричневом халате распахнутом, спрашивал:

- Ты кто?
- Русская.
- Ты кто?
- Литовка.
- Ты кто?
- Латышка.
- Ты кто?
- Поляк.
- Ты кто?
- Немец.

Он расхохотался и говорит:

- Интернационал!

Всех увели, а мы втроем еще долго в коридоре стояли. Слышим, говорят — Durchgangslager, Durchgangslager. Мы не знали этого

слова, но «лагерь» мы поняли и подумали, что это концлагерь. Оказалось, что это пересыльный. И вот нас на открытом грузовичке везут по развалинам — старичок такой, на петлицах у него были какие-то ключики. Грузовичок маленький, ехал медленно, и мы переглянулись: мол, можно спрыгнуть и убежать. Но тут наш грузовичок выехал на открытое место, и мы не успели.

Нас привезли в лагерь. В это время народу там было немного. Русские девочки, которые работали на кухне, сказали, что начальник лагеря очень хороший человек, что он во время бомбежки на руках выносил русских и сам перевязывал раненых. И что вообще такого человека во всей Германии нет. Я, к сожалению, не помню его фамилии.

А нам он сказал:

— Я вам подберу место, и голодные вы не будете.

И направил нас работать на кухню аэродрома. Насколько я понимаю, это был довоенный аэродром, гражданский. Может, центральный аэродром Кёльна. Рядом — деревня, Лонгерих, кажется. Сам аэродром был огражден и покрыт сеткой, а рядом стояли два барака. В них мы и жили, в одной из комнат. Ходили свободно.

К тому времени мы уже вполне изъяснялись по-немецки. Я очень быстро научилась читать, но говорила плохо, с акцентом. А Эля, она способная, музыкальная, она говорила великолепно. И Лёля тоже хорошо.

Только мы приехали туда, нам говорят — идите получайте продукты. Это было первое, что нас поразило. Мы пришли, и нам дали хлеба и какой-то искусственный мед, дали масло или маргарин, что-то, что на хлеб мажут. Это было диво.

На кухню приходили наши военнопленные за продуктами, картошку брали. Мы всегда старались им отобрать картошку получше. Немножко общались. Был среди них летчик Николай, так он дважды прорывался к самолету, поднимался в воздух, но один раз в самолете не оказалось бензина, а во второй раз его сбили. Но нужно сказать, ничего с ним не сделали.

Бомбили нас по-черному, без конца, и ночью, и днем. Кёльн вообще сильно бомбили, а аэродром особенно. То есть не сам аэродром, а вокруг него. И только перед концом войны разбомбили все летное поле и все бараки, но аэровокзал не пострадал.

И вот немцы уходят. А мы там пробыли конец 43 года, почти весь 44-й и подходил 45-й. Да, собственно говоря, он уже начался. Очень сильная бомбежка была на Новый год. А мы остались втроем на всем аэродроме. Никого не было.

Нас спрашивали, будем ли мы уезжать? Мы сказали, что нет. Рядом с нашим бараком было административное здание, и мы туда перешли. И вот однажды утром сквозь закрытые ставни наше окно прошла пулеметная очередь. Смотрим в щелочку: стоит броневик, или танк, или что-то в этом духе. Мы быстренько, ползком, спустились в подвал. Через какое-то время появился американец, в такой каске, сетка поверх и веточки торчали. Мы закричали, что мы русские.

Пришли еще какие-то американцы и сказали, что нам здесь оставаться нельзя. Вон, говорят, на окраине города все дома пустые стоят, так вы перебирайтесь туда. Даже машину дали, вещей у нас было мало, но все-таки что-то перевезли. Правда, много было продуктов. Когда мы остались втроем на аэродроме, мы два дня со всех складов сносили к себе еду.

И мы переехали. В Кёльне мы пошли в лагерь, нашли своих из детского дома. Охраны в лагере уже не было. Мы своих там подкармливали, пока их судьба не решится. Жили мы в доме без стекол и электричества. Окна мы затянули одеялами. Нам говорили, что решается вопрос с отправкой в Россию, но пока нужно подождать. И мы устроились на работу, в монастырь. Я возила громадную цистерну с водой. Путь был с горки, и мне было не тяжело. Но все же немцы мне сочувствовали, что я тащу ее, точно лошадь. Еще мы какие-то котлы на кухне у них мыли.

А потом наконец сформировался эшелон, и мы поехали. Ехали долго, в каких-то городах были небольшие остановки. По дороге нас где-то кормили, пересаживали. То мы ехали в товарных вагонах, то в пассажирских с выбитыми стеклами. И в конце концов мы приехали в нашу зону, в город Магдебург. В бывшей немецкой воинской части находился большущий лагерь. Он был огражден колючей проволокой, и охрана там какая-то была, наша, но войти и выйти можно было свободно. Война уже к тому времени кончилась. Это был 1945 год, лето.

Потом приехал некий майор Зикеев с шофером Яшей. И вот Яша влюбился в нашу Элю и стал просить майора, чтобы он взял нас к себе на работу. Майору почему-то не разрешили нас взять, и он сказал Яше: «А ты их укради». И постепенно Яша нас перевез. Сначала Элю. А когда мы все туда приехали, Эля нам доложила:

— Девочки, мы попали в органы. И поэтому давайте договоримся, что мы будем говорить. А то наши родители арестованы, а мы в органах.

И мы решили сказать, что мы из одесского детского дома. Мы знали адрес, потому что к нам прибилась, когда наши отступали, одна девочка, Маша; знали номер детского дома, воспитателей, что-

то мы помнили. Проверить нас, правда, было очень легко, никто из нас ни разу в Одессе не был.

Ну, мы все это рассказали, и нас оставили работать. Сначала нам не платили, работали только, как говорится, за еду. А потом нас оформили секретарями, но так как переводчиков было мало, мы и переводческую работу делали. Потом нас даже оформили переводчицами, потому что там оклад был побольше.

Я работала в городах Вернигероде и в Магдебурге.

Эля вышла замуж за Яшу и уехала во Львов (умерла она в 1985 году). Лёля тоже уехала и жила в городе Мадоне, в Латвии. С Лёлей-то мы переписывались, у меня и фотография ее есть, а вот фамилия не подписана, а я забыла, не помню. Растерялись мы постепенно.

Словом, осталась я там одна. Однажды пришли девочки из секретного отдела и говорят:

— Ты знаешь, не подтвердился запрос о детском доме. Нет тебя там.

Ну, конечно, я дрожала очень. А во второй раз пришли и сказали:

— Тебя будут брать.

Я пошла к полковнику Кроткову и рассказала о том, что скрыла. У меня, говорю, родители арестованы.

— Ну что ж ты раньше мне не сказала. Хорошо, что сейчас пришла. Я уезжаю в Москву, вернусь, и мы разберемся.

Он уехал. А я заболела малярией, и меня увезли в госпиталь.

Вдруг приезжают наши ребята из следственного отдела, с которыми я тоже работала. Сеня Случишкин и Сережа, не помню его фамилии. Приезжают и говорят:

— Кротков дал перед отъездом приказ тебя арестовать.

Ну, и посадили меня. Сажу я в тюрьме, в Магдебурге. Когда все уходит, охрана идет ко мне, открывают дверь, я с ними в карты играю, они мне вкусно поесть дают. Тюрьма немецкая, охрана наша. Ребята из штрафбата, ничего не боятся. Как-то говорят:

— Слушай, может тебя выпустить? Мы тебя на машине подбросим. Здесь же всего восемьдесят километров, ты же знаешь. Ну, хочешь, мы тебя отвезем туда?

Они действительно ничего не боялись.

— Ребята, говорю, мне это не нужно. У меня мама. На мне грехов нет.

А потом, месяца через два, наверное, еще двое вольнонаемных было арестовано — Роза и Володя. И вот нас несколько человек собрали и повезли в Берлин. В Берлине мне удалось бросить открытку. Она у меня до сих пор есть. Я написала: «Мама, я в

Берлине, если я скоро не приеду, попроси начальство, чтобы меня вернули». Яснее я выразиться не могла, боялась военной цензуры.

Теперь скажу, как меня освободили.

Однажды я вдруг вошла в кабинет начальника, позвонила по телефону прокурору и говорю, что я, мол, сижу столько-то времени, без меры пресечения, без ордера на арест и что я написала заявление, говорю при свидетелях, в американскую, французскую и английскую комендатуры и что если меня в три дня не отпустят, то через три дня я эти письма отправлю. Конечно, это был блеф. Но к тому времени я достаточно уже знала гебешников. Они друг друга ужасно боялись. Боялись всякого намека на скандал.

Так или иначе, через три дня меня освободили. А тут собралась партия демобилизованных офицеров, и я с ними. Правда, мне даже вещи не разрешили взять, они в другом городе остались. Но я и так была рада, что вырывалась оттуда.

Нас довели на машине до какого-то города, уже не помню какого, посадили в поезд, и мы поехали — в Россию.

Сопровождавшему дали пакет, и в Бресте он этот пакет мне вручил. Я вскрыла, там был литер на одесский детский дом выписан. Я, конечно, все это порвала. Как тогда в Кельне порвала, так и сейчас. И пошла к начальнику вокзала, очередь там стояла. Расплакалась, говорю: вот, мне литер... А он ничего понять не может, пьяный был, но дал мне бесплатный билет до Борисова. Это был родной город моих родителей, вернее, мамы.

И вот приехала я в Борисов. К тому времени мама уже была там: срок у нее кончился во время войны — Белоруссия была оккупирована, в Москву нельзя. И она совершенно не знала, куда ей ехать. А в тот же день освобождалась какая-то бытовичка. И она сказала:

— Ну, хочешь, у меня можешь пожить три дня. Больше я тебе не обещаю, у нас очень тесно.

И мама поехала с ней в Бугульму. Устроилась там на железную дорогу, работала весовщицей, агентом по розыску грузов.

Подселили ее к семье эвакуированных. У них по площади можно было одного человека подселить, вот она с ними и жила.

Первое время ее спасло, что ей приятельница из больницы дала марли немного. Она ее обменяла на продукты. Купила картофель. Картошку ела, а верхушечку срезала. И когда дали весной землю и она пошла сажать, все смеялись, что она с «ридиколем идет». Посадила. Потом видит: у всех зеленеет всюю, а у нее росточки маленькие. А ведь она уже трижды ее обрабатывала, а они посадили — и ничего, не смотрят даже. Собрала она золы, под каждый кустик

посыпала, окучила еще раз, и в конце концов мамина картошка выросла. Было у нее, по ее словам, под каждым кустом по три, но зато большущие. И все говорили:

— Вот ведьма, поехала с ридикиюлем, а везет урожай мешками.

Конечно, тяжело было: ни одежды, ни обуви. Из тюрьмы ведь.

И вот мы обе оказались в Борисове. Я поступила в педучилище. Мама работала в гостинице дежурным администратором, старые знакомые помогли устроиться. (До этого она с работой намучилась: ходила на железную дорогу — не берут, на спичечную фабрику — тоже.) Жили мы в комнате при гостинице. У меня есть официальная справка, что Лиходзиевская Эмилия Иосифовна со своей дочерью проживает на площади четыре квадратных метра. Простите, восемь квадратных метров, но на этой же площади проживала сотрудница гостиницы Мария (я не помню фамилии) со своим сыном. То есть на восьми квадратных метрах вчетвером. Вот такая «квартира».

Мама получала триста шестьдесят рублей по-старому, у меня стипендия в педучилище. Два года я проучилась на очном, а потом, на последнем курсе, перешла на заочное и там же, в педучилище, работала секретарем и получала еще триста шестьдесят рублей. За один год я и два курса закончила, и сдала госэкзамены. Нужно было учиться и как-то жить.

Вызывали меня в НКВД. Не знаю я, что послужило толчком, но вызывали. Стали расспрашивать. Я им на все отвечала, что я давала подписку и не могу разглашать. Они говорят: нам можете. Я говорю: вы мне покажите бумагу, в которой написано, что могу, а то я боюсь. Тут они начали: а кто у тебя знакомый? А я понимаю, что они меня стукачом хотят сделать. И говорю, что я дружу только с Верой Жаровой, а отец ее был заместителем начальника НКВД этого города. Он потом меня встретил и сказал: смелая ты. Я говорю: а почему смелая? Он смутился.

Они меня оставили в покое, но я понимала, что так просто все это не кончится. Я тогда уже вышла замуж, и у мужа была возможность поехать в Польшу, в Читку, еще куда-то. Я сказала, поедем на Дальний Восток. Сказала, что из-за романтики, но романтика была у меня такая: подальше от этого НКВД, чтобы только с ним дела не иметь.

Нужно сказать, что после магдебургской тюрьмы и всех этих дел с органами во мне все время жил дикий страх. Я вообще в анкетах не писала, что была в Германии. Писала, что была в детском доме, потом про воинскую часть, где я работала. И, конечно, я без конца дрожала, и не без основания. Уже в 1976 году, я в то время жила в Москве и преподавала русский язык и литературу, мы с

приятельницей пошли подработать в Авиационный институт. Сдали наши анкеты. И вот во время экзаменов входит ректор, берет меня за руку и на глазах у пораженной публики выводит и говорит:

— Простите, мы вовремя не ознакомились с вашими документами, мы вас взять не можем.

А я в анкете написала, что мои родители реабилитированы. Это в 76-м году за реабилитированных родителей меня выгнали.

Вот поэтому я и выбрала Дальний Восток.

На Сахалине я училась в Учительском институте, потом приехала в Ленинград и поступила в педагогический. Закончила его. А потом, когда была реабилитация, мы с мамой переехали в Москву. С мужем я к тому времени уже была в разводе.

Я никогда не могла ему рассказать свою биографию. Я ужасно боялась испортить ему службу, он у меня офицер был. Однажды он мне сказал: знаешь, там всех жен вызывают и спрашивают. А я ему говорю: скажи, что я работала в органах, в/ч № такой-то.

А ведь у него у самого отец был расстрелян в двадцатые годы.

Мы ничего друг другу не говорили. Ни я ему, ни он мне.

Я все время жила на нервах.

А потом на руках у меня была больная мама, школа, потом я еще в РОНО работала. Поступила в аспирантуру, конкурс был тринадцать человек на место. Я этот конкурс выдержала, сдала кандидатский, но защищаться не стала, потому что мама к тому времени была совсем плоха и у меня не хватало сил.

Живу, продолжаю работать. Мама умерла в 1985 году, в декабре. Она была персональным пенсионером республиканского значения и с гордостью говорила, что не за мужа, а за себя.

Я видела личное партийное дело отца в Литве, наконец мне его показали. Мне было непонятно, почему, если он реабилитирован, они не хотят выставлять его фотографию в музее. За тот год все члены ЦК выставлены, а секретаря ЦК нет. Хотя фотография у них была.

Выяснилось, что в его личном деле лежит донос Ангаретиса. З.И.Ангаретис был секретарем ЦК после отца. Он писал, что отец хочет захватить власть и т. д. Я видела этот донос своими глазами.

Видите, даже и сейчас с делом отца не все ясно. Надо снова ехать в Литву разбираться.

Вот такие у меня дела.

Запись сделана 1 октября 1990 г.



*Мать, Лиходзиевская Э.И.
1928 г., Москва.
Отец, Волинский В.А.
1926 г., Минск*



*Альдона Волинская,
июль 1940 г.
Детдом №1 (Новоукраинка)*

*А.Волынская
1946 г., Вернигероде*



*Э.И.Лиходзиевская
1944 г.; Бугульма*

Говорит

Тамара Владимировна КОСТАЛЕВСКАЯ

Косталевская Тамара Владимировна (урожденная Карпович, отчество изменено матерью в целях безопасности; у всех детей в семье разные отчества — были даны в детдомах), родилась 12.04.1939 в Карлаге. Содержалась в лагере и ссылке до освобождения матери (1956 г.). Живет в Москве.

Мой отец Демкин Иван Леонтьевич* был арестован в 1938 г. по обвинению в измене родине — якобы он, с группой людей из пятнадцати человек, продал проект самолета за границу. Папа был управляющий домами Совнаркома. Партийно-хозяйственная работа. Мама** говорила, что через несколько дней после его ареста она получила записку от отца. Принес ее один человек. Записка была следующего содержания: будь осторожна, я ни в чем не виноват, не доверяй такому-то. Больше она ничего от него не имела. После реабилитации мама подала на розыск, и ей прислали похоронную запись, что он погиб в сорок втором году под Сталинградом... И это все, что было об отце. Правда, получается, что постановление об аресте было раньше, а арестовали позже: судя по срокам моего рождения, оно какое-то время где-то пролежало.

В то время матери моей было двадцать восемь. Трое детей — шести, четырех и двух лет. В момент ареста мама была беременна — приблизительно два месяца. И я родилась в лагере, в Акмолинском отделении Карлага, 26-я точка. И пробыла там с мамой до ее освобождения восемь или девять лет, точно не помню. (В школе я была переростком — очевидно, мне было девять лет, ведь

* Демкин Иван Леонтьевич, родился в 1897. Арестован в 1938. Дальнейшая судьба неизвестна. Реабилитирован в 1956. Умер (по свидетельству о смерти, выданному в 1956 г.) в 1942.

** Карпович Антонина Алексеевна, родилась в 1911. Арестована осенью 1938, ст. — ЧСИР; срок — 8 ИТЛ, затем ссылка. Места заключения и ссылки — Акмолинское отделение Карлага, Акмолинск. Оsv. в 1956. Реабилитирована в 1956. Умерла 17.11.1977.



Т.В. Карпович (Косталевская), 1956 г., Киев

женщин в лагере держали еще сверх срока.) Восемь лет мама отбыла по 58-й статье, а потом мы были в свободной зоне, это я помню. Я жила в бараке, спала с мамой на нарах — у нас нары были сдвоенные — а над нами тоже нары, и там спали две женщины. И так все остальные. Это был большой барак, темный, полный несчастных женщин.

Г.И. Хоть вы были и маленькая, может быть, вы помните, какой это был лагерь, на несколько тысяч или несколько сотен человек?

— Я только могу сказать, что, когда мы жили за зоной, это было несколько барачков, барачков пять, по которым я бегала. Там жили одни только женщины. Это были длинные бараки, посредине столбы стояли. И очень донимали клопы.

До того как мы попали в эту свободную зону, я находилась с группой детей, и за нами ухаживали женщины — не то политические, не то заключенные какой-то другой категории. Я не знаю. Но вот отношение к нам было не совсем человеческое. Мне казалось, что меня просто ненавидели. Может, это только ко мне так относились, но я была ребенком, я не знаю. Я не чувствовала любви со стороны этих женщин. С матерью мы иногда встречались; мама была рядом, мы это знали. Я всегда ее ждала. Может быть, я особенно ее ждала, но когда я говорила, что сегодня придет моя мама, надо мной почему-то очень смеялись. И смеялись не только взрослые, но и дети. Там как-то странно было. Во дворе горка, но меня не пускали к ней, и велосипед был, который мне тоже не давали. Жестокость там была. Отбирали мои игрушки. Возжелением моим были кубики, а у меня их забрали. Это так врезалось в память, что своей дочке я накупила много кубиков; я всегда мечтала построить из кубиков дом.

А был такой случай. Ночью нам не разрешали выходить в коридор. Но, очевидно, у меня расстроился желудок, и я вылезла из кровати. И стала искать горшок. Я его не нашла, и со мной случилась беда, прямо в кровати. Когда это обнаружилось, меня раздели догола, поставили на скамейку, собрали вокруг меня всех детей... и каждый ребенок чем мог, тем в меня и бросал, во все места (плачет)... щипали, тыкали. Меня просто привоздили к позорному столбу. Я испытала такое унижение, которое не могу забыть до сих пор. И вообще унижений было очень много.

Вот что это были за женщины. Мои детские воспоминания о них очень нехорошие.

Была там, правда, одна пожилая женщина, звали ее Хана Самойловна. Она была детский врач, доктор наук — из Москвы — и очень любила меня. Не только меня, а всех детей. По свидетельству моей мамы, она тоже была заключенной, политической. Потом, когда во время войны стали собирать женщин-врачей, ее тоже увезли, в Москву.

В семь месяцев я очень сильно заболела — воспаление почечных лоханок. И вот Хана Самойловна целыми ночами носила меня на руках, и только благодаря ей я осталась жива. Она, говорила мама, была рядом все время...

С большой благодарностью мама вспоминала начальника лагеря Сергея Баринова. Хана Самойловна говорила ему о наших детских нуждах — и он делал все возможное, чтобы детям помочь. А женщины-заключенные могли писать, сколько хотели. Он сам собирал письма.

Г.И. Скажите, пожалуйста, а вот этот лагерный детский сад, в котором вы были, он находился далеко от зоны?

— Он находился там же, в пределах лагеря, я это помню. Нас, детей, содержали, очевидно, в группках. Наша группа была небольшая, человек пятнадцать. Жили мы в одноэтажном доме, комнаты мальчиков и девочек отдельно. В комнате для девочек было до десяти коек. Я даже зрительно могу подсчитать число кроваток.

Когда маму освободили после восьми лет, нас перевели за проволоку, и я была очень рада, что меня из этой «маленькой тюрьмы» выпустили. Я бегала к маме на фабрику. Это был цех, где работали женщины, шили халаты для маскировки, полушубки из овчины белые, рукавицы и ватники. Словом, воинское обмундирование. Я проходила через ворота, а затем через мужской блок (там работали пожилые мужчины и было что-то типа прядильни). На воротах стоял молодой казах, который всегда мне давал какую-нибудь вкусную вещь, даже помидоры. А помидоры в тех местах — чудо.

Г.И. А не помните, вы ведь родились и какое-то время прожили в лагере, кого-нибудь из детишек забирали родственники?

— Не помню.

Там были дети моего возраста и немножечко старше меня. Значит, привозили женщин беременных и с совсем маленькими детьми. Вот Юру помню, он был старше меня на год, — значит, приехал с мамой.

Г.И. Как вы думаете, там содержались только женщины — члены семей изменников родины, то есть политзаключенные? Или были и уголовницы?

— Там, где жила мама, находились только политические. В основном это были «жены врагов народа». Все они имели по восемь лет. Но были и мужчины-заключенные, не знаю, к какой они относились категории, назывались бытовиками и содержались отдельно, за проволокой. Там были собаки, вышки. Мама говорила, что мужчин привезли перед ее освобождением. Кстати, они были очень нежны со мной, поглаживали по голове, когда я пробегала через их зону. Я любила ходить через этот пост даже больше, чем через женский.

За восемь лет пребывания в лагере единственным нашим развлечением была лошадка, которая вывозила каждый день мертвых — они лежали в телеге, прикрытые брезентом, из-под которого торчали руки и ноги. Но мы как-то не задумывались о смерти. И даже ждали эту лошадку в сумерках, когда вывозили трупы.

Ну, еще собаки, которые бегали вокруг лагеря, тоже привлекали нас. Мы же были детьми. Еще птички-воробушки очень меня радовали. Вот впечатления моего детства, все восемь или девять лет.

Случались еще драки за забором, у бытовиков. Я не раз наблюдала и драки, и поножовщину. Тоже интересные картины.

Мы даже не видели степей казахских. Там довольно унылая природа, но мы и этой унылой природы не видели, ничего, кроме неба и лошадки, которая вывозила мертвых. Вот это все — наше детство.

Иногда, правда, женщины устраивали концерты. По словам мамы, там было много актрис, и концерты были интересные. Мы их ждали.

Однажды весь наш детский дом повели за зону. С нами была воспитательница. Весна. Впервые выпустили коров. Они так резвились, что мы очень перепугались, сбились в кучу... По-моему, даже наша воспитательница испугалась. Коровы вокруг нас такое выделывали, что нас увели. Я до сих пор безумно боюсь коров.

Г.И. Скажите, а вот поверки, конвой — это вы помните?

— Нет. Ни поверок, ни конвоя. Конвой помню, когда я уже свободно бегала по зоне — они всегда меня чем-то угощали.

А потом мы с мамой освободились и жили уже в ссылке, на маленькой станции минутах в двадцати от Акмолинска. Мама работала в артели. Там было очень много бывших заключенных. При

этой артели было общежитие, и в нем мы занимали одну комнату с земляным полом. Кроватей не было, соорудили какие-то топчаны. Мама была мастерица, и у нас были пододеяльники, сшитые из лоскутков, цветные. Она вообще была очень чистоплотным человеком — и физически, и морально.

С нами рядышком жили тетя Ядя и тетя Шура, тоже из маминского лагеря. Две подруги, которых вместе осудили, вместе они попали в лагерь, вместе прошли его. (Они потом приезжали к нам.) Самое интересное, что когда они нашли своих дочку и сына, они их поженили.

Г.И. Вы не помните, ваша мама случайно осталась там? Просто потому, что там можно было как-то устроиться, или же вам запрещалось выезжать?

— По словам мамы и других женщин, выезжать запрещали. Видимо, их просто туда направляли после лагеря. Наверное, это было место поселения.

Сначала мы жили в той комнатке, а потом уже снимали домик в казахском ауле. Там было две комнаты, в одной жила наша хозяйка. Звали ее Макшат. Ее муж погиб на фронте.

Г.И. А какие у вас были отношения с казахским населением?

— Прекрасные, доброжелательные люди. Когда мы только приехали в этот аул, в первый час буквально, все эти милые люди — мужчины и женщины — пришли толпой и встали у стенок. И какое-то время молча рассматривали нас, а мы — их. У них были очень добрые лица. Языка никто из нас не знал, но когда я потом играла с казахскими детьми, мы друг друга прекрасно понимали. Был один казах, его звали Антон (наверное, ему сделали такое имя, чтобы нам было легче). Он работал на мясокомбинате. И вот этот казах один раз пришел к нам и сказал: «Ты один, и вот тебе колбаса». Мама сказала: «У тебя же восемь детей». А он ответил: «Ты один, и я буду тебе помогать». И он действительно приносил кое-что с мясокомбината. А мама стала обшивать его детей, из каких-то тряпочек. Она очень старалась чем-то ему помочь.

У них совершенно не было замков. Вот сейчас об этом рассказываешь, и даже не верится. В дом можно было прийти в любой момент, и на столе появлялось все, что есть в этом доме. Это были удивительные люди. Они по-доброму о нас заботились. Им была так же дорога наша русская семья, как и свои семьи. Они никому не дали погибнуть.

И еще. В лагере, в нашем детском доме, нас пугали казахами. Говорили: вот придет калдык и заберет тебя. Мы очень боялись. И вот однажды я зашла в пустой барак около свободной зоны и, к своему ужасу, увидела, что за мной в этот барак заходит казах. Я чуть не умерла со страха. Но когда он подошел, я увидела доброе лицо и сразу же весь страх прошел. Это был тот казах, который потом, когда я прибежала к маме, угощал меня помидором. Они ведь сами многодетные и очень любят детей.

Что это были за люди, которые нас пугали казахами! И когда мне теперь говорят, что у них там какие-то распри, мне не верится. В моем сознании не укладывается, чтобы эта нация дошла до того безобразия, что сейчас там происходит.

Г.И. А школа там была?

— В школу я ходила через степь, очень далеко. Это была единственная школа на станции — двухэтажная, вокруг школы оазис, где росли акации, а дальше — голая степь.

Когда я пошла в первый класс, я узнала, что, оказывается, книги бывают, бывают сказки; и вообще, есть что-то более интересное, чем лошадки и торчащие из-под брезента руки-ноги мертвецов. Нам ведь там никогда никто не читал никаких книг. Однажды, когда мы вышли в свободную зону, ко мне подошла одна из воспитательниц и стала на меня кричать: где книга о Ленине!? Она так кричала... А я вообще не видела книг и не знала, кто такой Ленин.

Очень мне все тяжело давалось сначала. Кругом ведь все уже читали. Потом стало легче, и я пошла хорошо. Хотя никто ко мне не проявил никакого сочувствия, только одно презрение. Я не помню, были ли в классе еще дети моей категории, наверное, только я одна. Не было в нашем классе и ни одного казаха.

Я, конечно, очень старалась и училась изо всех сил, но, кроме двоек и единиц, никогда ничего не видела. Удивляюсь, почему меня не оставляли на второй год. У меня врожденная грамотность, но мне, вне зависимости от того, были у меня ошибки или нет, все равно всегда ставили тройки. Литература — не математика, в сочинении надо раскрыть тему, и я это делала, и делала неплохо, но все равно всегда получала тройки. Как бы я ни отвечала. Например, «Пророк» — у меня все это шло от сердца, — и все равно, ничего не помогало.

А вот Майя, дочка секретаря, выходила к доске и могла вообще ничего не сказать, но ей ставили пятерку.

Однажды в школе мы катались на лыжах и у меня очень замерзли руки. Потом, когда руки разогрелись (а они были обморожены), мне было очень больно и я плакала. А дети спросили учительницу: «А почему эта плачет?» В слове «эта» было такое презрение...

Г.И. Что же, среди учащихся вы были одна такая?

— Я не помню, был ли кто-нибудь еще, во всяком случае, женщины, жившие рядом, имели уже взрослых детей. Чаще дети жили либо у родственников, либо в детдомах — их даже не забирали оттуда, просто не брали в наши жуткие условия. Они жили где-то на Украине, переписывались... Было много эвакуированных, тех, чьи родители во время войны уехали с Украины. У нас в классе была девочка с Украины. А вот что касается лагерных, то мне кажется; я была одна, во всяком случае, в нашем классе.

Г.И. Сколько классов вы окончили в Акмолинске?

— В Акмолинске я окончила девять классов. Когда мы переехали в Киев — это был пятьдесят шестой год — мне исполнилось шестнадцать лет, и я заканчивала десятый класс уже там. Пошла в вечернюю школу, так как мама моя болела и надо было идти работать.

Потом я поступила в институт иностранных языков, на французское отделение. Никаких препятствий не было.

Г.И. А при получении паспорта?

— Когда я получала паспорт, мне пришлось пойти к начальнику милиции и попросить, чтобы он позвонил в районное отделение, так как от меня требовали указать, в каком районе я родилась. У меня есть свидетельство — единственный документ, подтверждающий, что я родилась в Карлаге, на котором стоит печать, очень четкая: «Управление Карлага НКВД». Треугольная печать. Это единственное, что у меня сохранилось. Так вот, в метрике у меня написано «село Долинское Карагандинской области». Я объяснила, где я родилась, показала документ, он позвонил в районное отделение милиции, и мне выдали там паспорт. Я до сих пор ощущаю трудности: когда приходится где-то заполнять документы, мне всегда говорят: район, укажите район. Потому что Долинка — это управление лагерями, а мне так и написали — село Долинское.

Г.И. Когда вы жили уже на высылке, вам кто-нибудь помогал?

— Нет. Мы жили только на то, что мама зарабатывала. Мы просто бедствовали. Когда мы приехали в Киев, я удивилась, что люди, оказывается, живут хорошо. А там вокруг нас была просто

нищета, сплошная нищета. Ели мы иногда раз в три дня. Когда я приехала на Украину, я спрашивала, а что это за зелень? А уж на яблоню посмотреть — это было как войти в райский сад. Я ходила на склоны Днепра, и все там приводило меня в восторг, потому что я никогда не видела такой красоты. Казахские степи — они же мрачные. Там были цветы, подснежниками их называли, но я понимала, что это не подснежники, а какой-то другой цветок. Это море цветов, но необыкновенно короткое время. И еще мы все ходили с мешками рвать полевой чеснок, который поедали в большом количестве. Это нас спасало от цинги. Я удивляюсь, но несмотря на плохое питание, мы все были здоровыми.

Г.И. *Мама делала попытки найти отца в то время?*

— Вот этого я не знаю. Наверное, не делала. С родственниками переписывались. Родственники нашли братьев — они находились на Украине, были уже взрослые, один учился на краснодеревщика. А сестру найти не могли. Она была под Свердловском. Она сама нашла нас. И приехала. Ей было шестнадцать лет.

Ведь у мамы, кроме меня, было трое. Два брата жили под Киевом и в Киеве, у родных. Они сначала были в детском доме, но потом их забрали оттуда. Но бабушка и дедушка с ними связь имели. Сестра тоже была в детском доме. Потом она нашла нас и приехала, с девочкой Аничкой, с которой они сбежали из детского дома. В детдоме они окончили всего четыре класса. В Акмолинске они жили с нами, поступили в ремесленное училище, окончили его. Там им давали какое-то обмундирование, кормили. Потом они работали на электростанции. Аничка до сих пор там живет — вышла замуж, муж у нее русский. Мы переписываемся.

А сестра моя уехала на Украину, тоже вышла там замуж. Живет в Артемовске, работает на заводе. Жизнь у нее сложилась не очень удачно — муж умер, осталась с двумя детьми. Образования она так и не получила.

Сестра очень хорошо поет, у нее прекрасный голос, по силе и красоте не уступит хорошим певицам. В Акмолинске она пела в самодеятельности, ее приглашали в ансамбль. Ей никакого микрофона не нужно было. Пела она русские народные песни.

А братья сейчас живут в Киеве. Один получил высшее образование, другой — нет, работает на заводе.

Я в 1969 г. приехала в Москву, вышла замуж, у меня дочь четырнадцати лет.

Г.И. Вот вы, родившаяся в лагере, получили высшее образование.

— Я кончила еще и второй институт, патентный. Когда я поступала в Иняз, я прошла большой конкурс. За сочинение у меня была единственная на курсе пятерка. Я даже удивилась — мы пришли сдавать устный экзамен, и там сказали: вот единственная пятерка за письменную работу. А я и в экзаменационный лист не посмотрела, думала — тройка. Я так привыкла к плохим отметкам.

Г.И. А говорили в Киеве в основном по-русски или по-украински?

— Вот они сейчас твердят — «язык, язык», а ведь они сами истребляли свой украинский язык. Когда из деревни приезжала какая-нибудь девочка и говорила по-украински, ее называли «жлобиха». И она быстро переходила на русский. А ведь раньше она говорила на прекрасном украинском языке, очень литературном, красивом. И получался какой-то вульгаризм, который слушать невозможно.

В Инязе украинский язык изучали, и относились к нему с большим вниманием. У нас был замечательный педагог. Сначала мне приходилось трудно. Когда я что-то начинала рассказывать по истории Украины на украинском, педагоги говорили: «Переходите на российскую мову». Но в общем считалось, что мы учились на украинском.

Сейчас я работаю. Я не преподаю французский, последние годы была переводчиком — не разговорным переводчиком, а в разных организациях, в Москве. Делала технические переводы, работала с юридической литературой. Это в отделении морского права при Министерстве морского флота. Там заключались международные конвенции.

Г.И. Когда вы уезжали из Акмолинска, как у мамы было со здоровьем?

— Очень плохо. У нее была астма, сердце больное. В Киеве она работала, опять в пошивочном цехе. Ее хотели отправить на инвалидность, но ей очень повезло. Она поехала в Симеиз, в санаторий от Совета Министров, им каждый год давали бесплатную путевку. Врачи ее не отпускали, говорили, не доедет, умрет. Но она поехала. А там она встретила врача, который тоже был из репрессированных. Он проникся к ней состраданием и вылечил ее от астмы. Сам давал ей таблетки, и когда мама приехала, мы ее не узнали: она вернулась здоровым человеком.

Г.И. Ваша мама попала в лагерь, не имея какой-то определенной специальности?

— Нет, она была просто домохозяйкой, воспитывала детей. Трое детей было — целый день работала. Вот в лагере она научилась шить.

Г.И. А когда вы приехали в Киев, вам дали квартиру?

— Да, сразу же. Мы вернулись в августе 1956 г., а в октябре уже имели квартиру. Правда, нам горисполком выделил однокомнатную, но когда мама пришла, ордер был уже переделан и вместо однокомнатной квартиры нам дали две комнаты в коммуналке. Мама махнула на это рукой — мы ничего не ждали и очень обрадовались, увидев в том районе таких же, как мы, нищих. Мама работала до пятидесяти пяти лет. А потом, когда ей был шестьдесят один год, вышла замуж. Так что в конце жизни ей повезло, она встретила хорошего человека. Мама очень тяжело умирала от рака, и он за ней ухаживал. А вскоре и сам умер, тоже был болен.

В Киеве мы поддерживали связи с некоторыми мамиными подругами по лагерю. Например, с тетей Валею Поляковой. Ее муж был довольно известный человек, кажется, первый секретарь горкома в Киеве. Когда, еще в лагере, они с мамой приходили ко мне в детское учреждение, тетя Валя всегда приносила мне гостинцы, так как была где-то на земляных сельскохозяйственных работах.

Недавно я подала заявление в Комитет госбезопасности с просьбой дать мне справку о том, что я находилась в Карлаге с такого-то по такой-то год. Прошел месяц, и мне позвонили. Я когда слышу эту организацию, КГБ, у меня сразу же возникают совершенно отрицательные эмоции. Я, конечно, была очень некорректна с каким-то Петром Константиновичем, как он представился, но он мне сказал, что я должна направить запрос в Информационный центр Караганды, в облисполком, в Отделение внутренних дел. Я его спросила: «Вы отказываетесь от моего дела? Ведь если вы напишете туда, вам скорее ответят, чем мне, вам справку дадут моментально». Короче говоря, я поняла, что они не очень хотят этим заниматься. И тогда я ему сказала: «Сажали вы быстро, а получить какой-то документ невозможно. Вы остаетесь такой же фашистской организацией». Он бросил трубку. Потом я сама позвонила и сказала: «Пожалуйста, не бросайте трубку, меня понять можно». Он ответил: «Я понять вас могу, но если бы вы обращались к моему отцу, тогда было бы

понятно, а обращаться ко мне с такими обвинениями...» Я, конечно, опять разошлась, сказала, что порядочные люди в этой организации не работают, но вы не бросайте трубку, я все равно вашей организации выскажу все: что я — человек, который обижен вашей организацией, что я вас ненавижу, и весь мир вас ненавидит, не только я, потому что ваши щупальца распространяются не только на наш народ, а на весь мир, что многие уехали... Тогда он стал уже патристические речи говорить, что вот я, мол, не люблю свою родину. Я сказала, что родина человеческая — это Земля, а вы наставили границы. Я не люблю ни малую, ни большую родину, потому что вы такое настроили! Так что разговор у нас получился очень неприятный. Я понимаю, что он, может, и хороший человек и ни в чем не виноват; я сказала, что эти мои высказывания не лично к нему относятся, но высказать этой организации свое пренебрежительное отношение мне очень хочется...

Пока я никакого ответа не получила. Но очень довольна в том плане, что он направил меня в Информационный центр. Там я вышла на человека, который дал мне адрес Баринова, начальника нашего лагеря. Он еще жив, ему восемьдесят восемь лет.* Я сегодня же напишу ему письмо, потому что я всегда слышала о нем от мамы только самые хорошие отзывы. У меня такое чувство, что он ответит.

Адрес Баринова я получила у Раисы Абрамовны Вареуполо. Она была в Акмолинском отделении Карлага. Но маму мою она не помнит, потому что работала на земляных работах и они друг друга не знали. Похоже, там действительно было очень много народа. Она же мне рассказала, что в Долинке снимали фильм «Изменницы», режиссер Евгения Викторовна Головня.

Я нахожусь в большой радости, что этот режим кончает свое существование. Я вижу его финал и очень верю, я интуитивно верю, что вот-вот он окончательно рухнет. Может быть, пройдет три года, может быть, шесть... Но я готова пережить что угодно, только бы это кончилось. Как-то в булочной началась свара, я бросилась в середину и крикнула:

— Люди! Не теряйте свое лицо! Поймите, что все это кончается. Подумайте, вот вам по семьдесят лет, на что вы сейчас жалуетесь? Вы жили хорошо? Нет. Я всегда плохо жила. А те, кто жил хорошо, они сейчас среди нас не находятся, не стоят в этих очередях. Так что же вы жалуетесь? Это все кончается. Наберитесь терпения, потерпите три года. Действительно, будут жертвы и катаклизмы, но мы идем к свету...

* К моменту выхода книги С.Баринов уже умер.

Г.И. У меня тоже была жизнь нелегкая, но я все-таки всюду встречала хороших людей.

— А это потому, что вы несете людям добро, ведь добро идет к добру, а зло — к злу.

Г.И. Может, и так.

— Я только думаю, что мы, пройдя все эти лагеря, много хороших людей встретили, мы не потеряли человеческого лица. Я же могла, пройдя такую мясорубку, ожесточиться, но этого, к счастью, не произошло, я все-таки сохранила доброе сердце. Может, именно потому у меня сердце и открылось...

Вот Хана Самойловна, она оставила самые светлые воспоминания, а других я даже не могу вспомнить, даже имена из памяти стерлись...

Г.И. А ваша мама?

— Она была добрая женщина, ее любили в доме. Когда я приехала на похороны в Киев, соседи все организовали, такой стол устроили... Все ее провожали. Она была такой человек, всем помогала...

Г.И. А ведь я знаю вашу свекровь Витту Семеновну — она бывала у моей мамы. И с вами мы сейчас встретились. Такие случаи бывают. Очень странная жизнь.

Запись сделана 15 декабря 1990 г.



А.А.Карлович, 1938 г., Киев

Говорит

Аля Ильинична ТАРТАК

Тартак Аля Ильинична родилась 29.07.1910.

Арестована 22.07.1937, срок — 5 лет ИТЛ.

Место заключения — спецотделение Темниковского лагеря, л/п «Явас», «Молочница» и др.

По окончании срока — 21.07.1942 — принудительно оставлена вольнонаемной.

Фактически освободилась в 1944 г.

Реабилитирована 28.07.1956. Живет в Москве.

В моих воспоминаниях не будет хронологической последовательности. Это не история пребывания в лагерях. Это отдельные эпизоды, «узлы», как говорит Солженицын.

Я начну с первых впечатлений, с первых часов ареста. С Бутырок, вернее, с того, что в Бутырках называлось «вокзалом». В одном из залов этого так называемого вокзала нас собирали. Привозили по одной — машина за машиной, черные, легковые.

Я огляделась. Почти все женщины старше меня. Были и молодые, а одна — старуха, настоящая старуха, с белыми волосами, с острыми чертами лица. Мы заполнили анкеты, довольно примитивные, несложные, без коварных вопросов. Вошел, не знаю как его назвать — оперуполномоченный, что ли, — и громко спросил:

— Муралова здесь?

Эта фамилия была тогда у всех на слуху: Муралов проходил по одному из процессов. И старуха ответила:

— Я Муралова.

— Партбилет при вас?

— Да.

— Отдайте партбилет.

И она таким жестом крестьянки полезла за пазуху, достала белоснежный платочек, в который был завернут партбилет, и протянула ему. Он швырнул ей платок, взял партбилет и ушел.

Сестра Муралова, Юлия Ивановна, член партии с 1903 года, потом некоторое время была с нами в лагере, и у меня остались самые хорошие воспоминания о ней.



А.И.Тартак, 1959 г., Москва

Нас начали маленькими группами отводить в камеру. Это была, как нам сказали, вторая камера, в бывшей церкви Бутырской тюрьмы. Такое круглое здание, разделенное на шесть камер. Одна над другой, очень строго, очень четко.

Когда я вошла, первое, что я увидела, — сидевшую у окна немолодую беременную женщину с животом под самый нос, с уже деформированными чертами лица. Очень сильное, страшное впечатление. Мария Ивановна Аберкина была женой механика какого-то великосветского, сиятельного гаража. Потом в лагере она родила мальчика. Его назвали Володя.

Постепенно камера наполнялась такими, как я, женами. Только женами. Одна Муралова была сестра.

Ну, как-то сформировался режим, быт. Нас стали по одной вызывать на допросы. Допросы не были тяжелыми. Однажды, правда, одна женщина вернулась в истерике. Но ее не били, а знавшие ее предположили, что следователь ее оскорблял. Они вообще к этому прибегали. Так, жена профессора Чайнова рассказывала, что следователь ей сказал:

— Как же это такой антисемит, как Чайнов, мог жениться на жидовке?

Она была страшно оскорблена. Она говорила, что это такой кристально честный человек, Александр Васильевич (так она называла мужа), а его записали в антисемиты.

В один день, который нельзя назвать прекрасным, открылась дверь камеры и вошли четыре женщины с грудными детьми: второе страшное впечатление. Одному ребенку было девятнадцать дней. Его мать — жена Преображенского, известного участника оппозиции, то ли профсоюзной, то ли рабочей. Тоже не очень молодая женщина. (Мне и позже приходилось встречаться с такими женщинами, с грудными детьми на руках. Дело в том, что в 1936 году Сталин запретил аборт. Рожали сорокалетние, сорокадвухлетние женщины.)

Еще женщина, которая почти не говорила по-русски, — таджичка, жена председателя ЦИКа Таджикской ССР — Халима Максумова. Ей тоже было за сорок. С прелестным четырехмесячным мальчиком. Красивый, черноглазый и уже, можно сказать, хорошо воспитанный, по-национальному, по-таджикски — он был живой, веселый и вместе с тем не кричал, не плакал, когда все отдыхали. И как-то очень ловко она его держала над парашей.

Еще — жена известного тогда солиста Большого театра С.И.Мигая, тоже с грудным ребенком. Бывшие среди нас актрисы

нашли, что он удивительно похож на отца. Ее же посадили за первого мужа, беспартийного адвоката.

Четвертый ребенок — дочка Амаяка Назаретяна, девочка полутора месяцев, очень слабенькая.

Среди нас была врач-педиатр, Ольга Антоновна Султанович, прежде заведовавшая детской комнатой Казанского вокзала. Держалась она скромно, но вот когда вошли женщины с детьми, она взяла власть в свои руки: никакого неорганизованного и беспорядочного курения (в определенное время и только у открытого окна), никаких поздних разговоров и т. д. И вот эта таджичка, такая напуганная, почувствовала к ней огромное доверие и протянула своего Музафара.

А через несколько дней женщин с детьми вызвали. Я оторвала кусок от платья и попросила Клаву Назаретян, чтобы она отнесла его моим родным и рассказала, где мы и почему сидим. Она это выполнила. (В декабре их всех с детьми привезли в лагерь. Таким образом Клава передала мне привет от моих.)

Потом, в Темниковском лагере, в спецотделении для жен, как это называлось, были ясли для детей заключенных, так как женщин с детьми было много.

Ясли были неплохие: сделали все, что можно. Производство у нас было швейное, и у детей было достаточно белья и теплых одеял. Вероятно, их кормили тоже не очень плохо, но, наверное, не было витаминов. Матери считались на привилегированном положении: они не работали в ночную смену на швейном производстве, очень много гуляли с детьми. Любая из нас тоже могла подержать ребенка на руках, походить с ним, погулять.

Но летом 1938 года дети стали хворать (я недавно узнала — это была токсическая диспепсия), и в течении лета умерло четырнадцать детей.

Один маленький азербайджанец — мать его, жена секретаря сельского райкома партии, это был их девятый ребенок — заболел и отказывался от еды. Как-то в ясли зашел начальник лагеря и спросил:

— Что он хочет? Может быть, он малины хочет?

Он больше ничего не мог предложить в этих лесных лагерях. И вдруг женщина, никогда не говорившая по-русски, очень отчетливо, хотя и с сильным акцентом, сказала:

— Ничего не хочет. Дамой хочет».

Начальник повернулся и ушел. А через две недели ее вызвали с вещами и освободили вместе с ребенком.

Когда к власти пришел Берия, первое, что он разрешил всем женщинам, — посылать запросы о судьбе детей. И все это делали и получа-

ли довольно скоро ответ. У многих ведь дети были в детских домах. И одна только женщина не получила ответа, и она сошла с ума.

Затем было разрешено отдать детей родственникам. Подавалось заявление, родственников вызывали оттуда, где они жили, затем свидание и передача ребенка. А нам тогда свидания еще не разрешались — ни свидания, ни переписка. И вот мы писали письма на тряпочках, вшивали куда-нибудь в детскую одежду, в пальто или стезжку одеяльца, и так передавали на волю.

Потом уже разрешили переписку и нам, а позже разрешили посылки и свидания. Первое свидание состоялось осенью 1939 года — у племянницы Емельяна Ярославского Сони Кирсановой. Собственно, это была племянница его жены.

Было несколько извещений о смерти детей уже в детских домах. Я потом узнала, что умер маленький ребенок Варейкиса. (Варейкис был секретарем Воронежского обкома и членом ЦК партии, старый большевик, участник гражданской войны.) А двоих старших детей разыскала сестра его жены и взяла к себе. (Ее муж — известный художник Телингатор, иллюстратор книг и журналов).

А по зоне дети бегали свободно, мы их любили очень. Потом появилась воспитательница, пожилая, очень большая женщина с тихим голосом. Она была главная методистка по дошкольному воспитанию в Украинской ССР. Я не помню ее фамилии, дети звали ее баба Белла. Года через два она поставила вопрос перед начальником о том, что надо детей вывести за зону, чтобы они видели животных, чтобы не выросли, не зная растений, но зато зная лагерные термины. Ему было очень трудно это пробить, потому что баба Белла была «восьмилетка», а «восьмилеток» не расконвоировали. И тогда она предложила, чтобы вместе с ними был и конвоир. Так и сделали. И вот они отправились гулять. Многие провожали их у ворот.

Вернулись они невероятно возбужденные, невероятно. И когда мы их спрашивали, что же вы видели, они говорили:

— Мы видели корову с отбоем.

А баба Белла нам рассказывала, что, когда они увидели свинью с поросятами, они так хохотали, что-то страшное. Потому что у них была книжка Сергея Михалкова «Три поросенка», в которой все поросята одеты в трусики и шапочки, а эти поросята были голые. Это их рассмешило ужасно, и они очень долго жили этим впечатлением.

Я не помню, чтобы повторили такую прогулку.

К началу войны дети — их было около тридцати — уже выросли из ясельного возраста, и многих, которых некому было отдать, передали в детский дом в Саранск, столицу Мордовии. Случайно

мне потом удалось узнать о судьбе одного мальчика. Мать, когда вышла из лагеря, забрала его из детского дома.

Г.И. А некоторые дети, в основном это мальчиков касалось, убежали из детского дома, и матери теряли их навсегда. Я помню одну мать, которая после получения такого известия сидела на полу в бараке, рвала на себе волосы и рыла как волчица. Для меня это самое страшное впечатление о лагере. Более страшного я не помню.

Сейчас жива Людмила Львовна Печалова. Ее сын тоже бежал из детдома. Он каким-то образом добрался до дома, и соседи по квартире, они жили тогда в коммуналке, его пригрели. Потом они нашли сестру Людмилы Львовны, и та взяла мальчика.

А теперь, Аля Ильинична, давайте вернемся в Бутырки.

— Пожалуй. Мне хочется рассказать о том, как нас водили в баню. Весь обслуживающий персонал — и те, кто нас провожал, и те, кто нас встречал, кто выдавал нам крохотные кусочки мыла, присутствовал при нашем мытье, — все были мужчины. Ничего предосудительного они себе не позволяли, но все равно это было оскорбительно. И не только за себя. Среди нас ведь были и пожилые женщины. (Самой старой на первом лагпункте было восемьдесят два года. Я очень сожалею, что не помню ни ее имени, ни фамилии. Только помню, что она была грузинка и жила в грузинском бараке. Самой молодой был двадцать один год. Она была четыре месяца замужем, а получила восемь лет.)

Для объявления приговора нас вызвали ночью; из пятидесяти двух человек только двое получили срок пять лет — я и еще одна женщина. А все остальные по восемь. На нас смотрели с некоторым даже подозрением.

Мы всегда мучительно старались понять, кому же восемь дают, а кому пять. Перед реабилитацией была такая версия, что восемь лет давали тем, у кого мужа расстреляны, а пять тем, у кого мужа получили действительно десять лет. Но я не знаю, так это или не так. Правда, мой муж был расстрелян. Мой бывший муж. Я ко времени ареста с ним разошлась. Но он был расстрелян потом; в лагере у него было второе дело. Я в то время уже сидела.

После приговора переводили в пересыльную камеру, очень большую; там было много народа. Сплошные нары: длинные узенькие скамейки и от нар к скамейкам — щиты. И был только очень маленький кусочек пола у порога камеры. Там стояла параша. А так мы спали вповалку, валетом, на правом боку. Переворачивались по команде.

Старостой в камере была известная еще по немому кино актриса, Ольга Третьякова. Она попала в тюрьму после онкологической

операции, позднее, в лагере, от рака и умерла, причем довольно скоро. Но тогда она еще казалась здоровой женщиной.

Третьякова была женой одного из заместителей Кагановича по Наркомату путей сообщения. Вообще среди нас было очень много, как тогда говорили, жен путейцев. Каганович буквально утопил в крови все железные дороги Советского Союза. Еще там сидела сестра Тухачевского. Молодая, очень красивая женщина, удивительно на него похожая. Ее арестовали на улице, когда она шла в булочную. Летом, в сарафанчике, в тапочках. Здесь она уже была в огромных лаптях, которые ей выдали. И кто-то ей подарил шарф на плечи, уже была осень, довольно прохладно. Она очень хорошо держалась, очень мужественно. Больше я ее никогда не встречала.

В Москве, когда нас везли на вокзал, на Казанский, через оконце «воронка» видны были верхушки окон и оранжевые абажуры, очень частые в тогдашних московских квартирах.

Привезли нас на какие-то запасные пути. Такое впечатление было, что как будто это вообще чистое поле. И все время подъезжали закрытые грузовики, на которых были написаны самые неожиданные вещи. На одной из машин было написано «игрушки». Иногда было написано «хлеб». Ну, у Солженицына мы читали про машину, на которой написано «мясо».

Этап до лагеря был довольно тяжелым, но, конечно, это не идет ни в какое сравнение с тем, что мы читаем у Гроссмана, у Солженицына.

Этап длился четверо суток. В товарных вагонах, тесно набитых. Но, опять-таки, были нары. Кормили соленой рыбой и почти не давали пить. Но, повторяю, это не шло ни в какое сравнение с тем, что мы читаем сейчас.

Ехали мы обычно ночью, а днем стояли на каких-то запасных путях.

Добрались мы, в общем, благополучно. Никаких несчастных случаев не было. Привезли на станцию Потьма, потом перевели на узкоколейку, которая вела в Темниковские лагеря.

И вот мы приехали на тот лагпункт, где нам предстояло жить. Там нас ждала охрана с овчарками. Мы прыгали из вагонов. Ступенек не было. Молодые солдаты-красноармейцы стояли, направив на нас дула своих винтовок.

О чем они думали, глядя на нас: старых и молодых, хороших и не очень? Не знаю, о чем они думали.

На лагпункте была приготовлена баня. Был предварительный обыск, довольно тщательный, и врачебный осмотр. Потом здоровые бабы, в белых халатах, в перчатках, велели раздеться. Мы приняли

их за врачей гинекологов, извинялись, что четыре дня не мылись. Оказалось, опять обыск. Настоящий гинекологический обыск. Не знаю, что они там искали. Тогда у жен ответственных работников бриллиантов не водилось.

Среди нас было много женщин с громкими фамилиями, известными всему Советскому Союзу и даже за рубежом. Мне представляется, что, кроме жен военных — маршала Егорова, Тухачевского, Уборевича, Корка, Гамарника, наиболее звонкой была фамилия дочери Бонч-Бруевича. Она была врач, хирург-травматолог. Когда наших врачей начали брать работать по специальности, ее почему-то не взяли. (Потом меня перевели с этого лагпункта, и я не знаю ее дальнейшей судьбы.)

К ней приехал отец на свидание. Было это перед самой войной, в феврале или марте 1941 года. До этого он не переписывался с ней и не посылал посылок. Говорили — сама она была очень замкнута, не знаю, кому она это рассказала — что будто бы Крупская перед смертью (а умирала она в присутствии Бонч-Бруевича) ее вспоминала. Она знала ее маленькой девочкой, на горшок сажала и т.д.

Бонч, как его называли в литературной среде, был директором Литературного музея, и его страшно не уважали, потому что он покупал мемуары каких-то неинтересных министров, царских или временного правительства, и очень дурно относился к писателям и поэтам, которых считали авангардистами. (Тогда был не этот термин, а какой-то другой.) Но когда были опубликованы известные слова Сталина о Маяковском, Бонч ходил ко всем, кто знал Маяковского, и пытался у них что-нибудь купить.

Так вот, когда Бонч-Бруевич приехал, начальник лагеря его принял по-особому. Дело в том, что у нас была такая избушка, в которой проходили свидания. Мы называли ее «дом свиданий», и там наши родные ночевали одну ночь, иногда две. А Бонча начальник принял у себя дома. В эту ночь не выпустили собак, которые обычно бегали привязанные к проволоке вокруг зоны. И освещение дали поярче. Начальником был капитан Шапочкин. Мне хочется, по примеру Разгона, тоже описать хорошего начальника. Это был добрый человек, несколько импульсивный, нервный. Говорили, что он выпивал здорово, и мы спорили всегда по этому поводу — потому ли он пьет, что добрый, или потому ли он добрый, что пьет.

Нам было известно только, что он прежде был начальником областного НКВД, кажется, не то Уфимского, не то Оренбургского, какого-то такого. И то, что его назначили начальником спецотделения для жен, было страшным понижением. Конечно, он воспринял

это как репрессию, но не ожесточился и не озлобился, что было бы вполне естественно, будь он карьеристом. Относился он к нам удивительно по-человечески.

А вскоре, недели через две после Бонча, приехал отец к вдове профессора Чаянова. Бывший меньшевик, он очень рано отошел от политической деятельности. Они жили в эмиграции во Франции, вернулись перед революцией 1905 года.

Это был очень красивый старик, изящный, воспитанный. Один из лучших переводчиков с французского — переводил он только философов. Шапочкин и его пригласил остановиться у себя, но он отказался:

— Молодой человек, у русских революционеров не принято якшаться с тюремщиками.

Так ответил старый Эммануил Львович Гуревич.

А Ольга Эммануиловна однажды сказала мне:

— У меня к вам большая просьба, мне нужна ваша консультация, а может быть, я попрошу вас о помощи. Пожалуйста, не откажите. Мне нужно вышить в подарок воротнички и манжетки, для Веры Николаевны.

Я спросила:

— А кто это?

— Как кто? Вера Николаевна? Фигнер.

Еще мне запомнилась жена Гамарника. Она была историк. Милая, интеллигентная. И внешне, и внутренне. Ее расстреляли. Академик Панкратова, с которой она дружила, узнала об этом из самых серьезных, солидных источников уже во время хрущевской «оттепели».

Вообще расстреляли несколько жен с громкими именами.

Сидела с нами жена Ковтюха. Ковтюх — это прототип героя романа «Железный поток» (у Серафимовича он назван Кожух).

Еще были сестра и жена историка Фридлянда. Сестра, Софья Соломоновна, известный врач. Вообще врачей было много, и они друг о друге как-то знали, судили и говорили, даже нам было известно, кто рядовой врач, а кто крупный, не по занимаемой должности, а по знаниям, опыту. Так вот, Софья Соломоновна сменила Марию Леонидовну, фамилию которой я, к стыду моему, не помню, на посту заведующей больничкой, так назывался наш маленький стационар. Она казалась какой-то отвлеченной, а в действительности была серьезным, внимательным врачом.

И вообще, я лагерным врачам очень многим обязана. Фактически они сохранили мне жизнь. Они создали легенду о моем больном сердце, а оно у меня было совершенно здоровое. Легенда эта опира-

лась вот на что: когда начиналась жара летом, то я себя очень плохо чувствовала, причем это было на глазах у всех — полубморочное состояние, бледность и т.д. Потом все проходило. Но на этом основании они запретили посылать меня за зону мыть полы в казармах, убирать кухню для вольнонаемных. Возможно, они это делали потому, что я была молодая женщина.

Осенью 1939 года два лагпункта спецотделения освободили для польских офицеров, а женщин отправили на Север, но не просто с этих двух лагпунктов, а перетрясли состав всего спецотделения. Я должна была быть в первой десятке и по возрасту, и по состоянию здоровья. Заведующая стационаром и наш главврач, тоже заключенная, сказала, что я не доеду. Предполагалось, что пошлют на Колыму. Что я не доплыву. Я очень хорошо это помню. А начальником санчасти была очень забавная такая фигура: медсестра гражданской войны; простая женщина, необразованная, темная — она совершенно благоговела перед нашими врачами. Она была пьяница. Они от нее прятали спирт, так как она его выпивала. Но слушалась их беспрекословно. Они сказали, что не доеду — значит, не доеду. И меня не включили в этап.

Это случай очень частый в лагерях — врачи спасали многих.

С нами еще сидела сноха академика Бехтерева, Зинаида Николаевна Бехтерева, крупный кардиолог. В начале 1944 года я ехала к своим, они еще были в эвакуации. И Зинаида Николаевна осматривала меня перед отъездом; она-то знала, что сердце у меня здоровое, но спросила меня:

— Куда вы едете?

— В Среднюю Азию.

— Очень хорошо, очень хорошо. Там много фруктов, витаминов, но к врачам не обращайтесь. А к осени все пройдет. Все будет нормально.

Я только потом все поняла. Мне объяснили. Так что я с благодарностью вспоминаю всех наших врачей.

Среди нас было несколько актрис, представительниц чуть ли не всех театров Москвы: две балерины Большого театра, серьезная актриса из Малого — Мария Переслени, актриса Художественного театра Евгения Мезенцева. Приятный член нашего коллектива.

Мезенцеву все видели в кинофильме «Пышка», еще старом, поставленном Роммом. Она играет там одну из дам, такая высокая дама. Фильм этот нам показывали несколько раз. Мы думали, по просьбе начальства. Потому что они приходили в восторг невыносимый, когда ее видели на экране. Вот они ее видят в телогрейке, а

вот они ее видят на экране. Они так хохотали, как только она появлялась, там роль небольшая. Они прямо гордились, как будто они ее выучили, сделали актрисой и сняли в фильме.

Были и периферийные актрисы, например, Лина Нечипорук из николаевского ГЮЗа. В лагере перед войной поставили «Без вины виноватых». Переслени играла Кручинину, а Лина — Незнамова.

Об актрисах хочется сказать отдельно: это были серьезные, интеллигентные, умные, глубокие женщины. Очень скромные. Все они, как одна, разбивали мешанский стереотип.

До марта 1941 года я была на Явасе, а затем меня перевели на Молочницу (так назывался лагпункт), где было большое вышивальное производство. Сюда собирали тех, кто не мог шить на машинках и вообще тяжело работать. Были даже полулежачие вышивальщицы. (Вышивальное производство вообще очень удобно для начальства, потому что не требует абсолютно никакого оборудования, никакой техники, никаких приспособлений, ни даже помещения. Например, на Явасе выдавали работу, и заключенные вышивали, где хотели. Летом во дворе, в тени барака. Зимой в бараке.)

На Молочнице были и производственные цеха, но в другой зоне. Когда мы выходили утром на работу, нас считали. Мы приходили туда, нас снова считали. Когда шли на обед, нас снова считали. Когда мы приходили на обед, нас считали опять. С обеда — считали. И так дальше.

На Молочницу меня привезли ночью, а утром, просыпаясь, я услышала странный разговор, два старушечьих голоса; одна спрашивала у другой:

— А вы знаете, за кого выйдет замуж Наташа?

Я думаю: о чем это они говорят, в лагере?

— А вот вы и не знаете.

А вторая сказала:

— А как же не знаю. Ясно же написано, за кого она выйдет.

— Вот вы думаете, что она выйдет за князя Андрея, а вот и нет — она выйдет за Пьера.

— Ну нет, это вы меня разыгрываете.

Тут я догадалась, о чем речь. Потом я встретила женщину, с которой дружила еще на предыдущем лагпункте, и она мне рассказала:

— Здесь колоссальную роль играет чтение вслух. Вот сейчас читают «Войну и мир», во всех цехах. Даже в бараках, для тех, кто не выходит. И оказывается, — сказала она шепотом, — многие не читали. Поэтому они все очень переживают, обсуждают и волнуются по этому поводу.

Там я снова встретила жену Чайнова, и мы с ней решили взять инициативу в свои руки: читать только классику. Книг было ограниченное количество, но нам присылали из дома. И тут выяснилось, что совершенно нельзя читать ничего такого, где описано тяжелое положение детей: ведь у многих женщин дети были в детских домах. Мы начали читать «Оливера Твиста», а если вы помните, книга начинается с того, что мальчик в воспитательном доме просит добавки. И все заплакали. Это была массовая истерика. Очень страшно. Мы, те, кто читал, стали объяснять, что все кончится благополучно, что он найдет своего дедушку. Чтица попробовала снова — и снова все то же самое. Так она и бросила, и «Оливера Твиста» нам дочитать не удалось.

Когда же дошла очередь до «Собора Парижской богородицы», чтица сказала: «А последних страниц не хватает». Владелица книги закричала: «Как, это новая книга... Мне папа только привез на свидание». Но потом в перерыве чтица подошла к ней и объяснила, что нельзя читать этот трагический конец.

Чтица была великолепная. Преподавательница музыки из Одессы. Читать она могла что угодно. Так однажды она прочла «Дон Жуана» Байрона, и все прекрасно слушали.

Но описания тяжелого положения детей читать нельзя было совершенно.

Были и забавные истории с чтением, настоящая литературная борьба. Так, одной женщине дочь привезла «Гроздь гнева» Стейнбека. А там есть некоторые натуралистические картины (не эротические, но натуралистические, и это шокировало). И когда читали, некоторые протестовали и возмущались и, успокаивая их, мы сказали, что ничего, мы потом будем читать «Воскресение» Толстого. Если вы помните, там есть и вши, и параша, и мальчик, лежащий у параша, и вытекающая из параша жижа. Вот это всех занимало, это и у нас было.

Объявление войны по радио я пропустила. И вот почему. Вся страна готовилась отметить столетие со дня смерти Лермонтова. И мы с Надеждой Григорьевной Рожэн, она в прошлом помощник режиссера, готовили инсценировку «Героя нашего времени». А уже был одиннадцатичасовой рабочий день. (Сначала у нас был восьмичасовой рабочий день, потом девяти, а потом одиннадцати.) Свободного времени не оставалось совершенно, и мы ловили каждую минуту, чтобы поговорить. Поэтому я пошла обедать с ее бригадой, до двенадцати. А передали в двенадцать часов, по радио. И мы пропустили.

Во всех цехах вышивального производства были репродукторы, черные тарелки. Когда мы выходили на работу, мы сначала слушали

радио. В Европе уже шла война. В десять часов приходила начальник КВЧ — и до двенадцати нам читали газеты: «Правду», «Известия» и «Советскую Мордовию». Начальник КВЧ — девочка, окончившая десятилетку в соседнем селе. Там были мордовские села и были русские села. Она была из русского села. Я представляю себе, что она была отличница. Такая румяная, здоровая девочка, очень приятная. Она нас страшно боялась, то есть, это был страх не физический. Она боялась насмешек, она боялась, что неправильно какое-нибудь иностранное слово произнесет, где-нибудь знаки препинания не учтет при чтении вслух. Она так боялась, что читала все два часа стоя. И сколько мы ее ни уговаривали — «ну, вы садьте, вы присядьте...» — она ни за что не садилась. К концу чтения она прямо пылала. Бело-розовая такая вся девушка.

Репродуктор висел на столбе, и под ним обычно сидели три дамы — жена Стецкого (он заведовал отделом агитации и пропаганды ЦК), жена Таля (он заведовал отделом печати ЦК, она тоже была в прошлом крупным партийным работником и, между прочим, одна из самых красивых женщин лагеря, но красота не была ее основным признаком, она как-то пренебрегала ею) и жена Бориса Волина (тоже одного из крупных работников советской партийной печати).

Вот эти три дамы сидели под репродуктором. Ну, жена Стецкого была дурочка и не понимала, что она слушала, но прислушивалась к тому, что говорили те две. А они очень хорошо знали историю партии, были свидетелями всех событий. И многое комментировали. Когда вместо Ворошилова появился Тимошенко, они моментально нам объяснили, что Ворошилов где-то в Крыму или на Кавказе подписал «Гротистскую» декларацию (она так называлась потому, что это совещание проходило в гроте), но, выйдя оттуда, тут же побежал каяться. Они это объясняли так, а не провалом финской кампании. И они очень умело и тактично руководили нашей юной начальницей КВЧ, потому что она не понимала, что нас интересует и что для нас важнее всего в это время. Вот она читает: «своевременно кончить окучивание свеклы» и что-то еще, в том же духе. А нам интересны военные события. И вот они ей подсказывали; им же было достаточно одним глазом взглянуть на газеты.

Так вот, последние известия по радио, в двенадцать часов, мы с Надеждой Григорьевной не услышали. Ее бригада, они вышивали детские фартучки, уходила на обед раньше, чем наш цех (мы вышивали крестиком. Это считалось самой квалифицированной работой, хотя требовало не квалификации, а крепких, хороших, слегка близоруких глаз). Мы прошли прямо в столовую и продолжали говорить

о «Герое нашего времени». И в это время — нам уже подали первое (у нас тогда еще были такие порядки — еду разносили, это до войны было) — в столовую вошла Юлия Ивановна Кузьмина, одна из жен Тухачевского — говорили, что третья. Она была его женой всего полтора года, потом он вернулся ко второй, к основной. Так вот, Юленька ломала руки, плакала, у нее текли слезы по лицу. Но это было как-то не противно, не вульгарно. И она говорила:

— Боже мой! Боже мой! На нас напали немцы. Война! Вероломное нападение!

И тут мой, так сказать, соавтор отбросила миску с супом и воскликнула:

— Что значит «вероломное нападение»? Где была наша разведка?

Ее муж, я так сужу по некоторым признакам, был крупным разведчиком. Незадолго до ареста он был отозван из Парижа, где они жили, и назначен замдиректором Ленинской библиотеки. Тогда такие превращения были очень популярны.

Вот так узнала я о войне.

А в цех, когда прозвучало это известие, со страшным криком вбежал дежурный комендант и сорвал репродуктор. Оказывается, у них был целый ряд инструкций и приказов на случай войны. И там было предусмотрено, что если будет объявлена война, то следует лишить нас информации.

Когда он сорвал репродуктор, все выбежали во двор, катались по траве. Было что-то страшное.

В тот день мы еще что-то вышивали. А назавтра нам сказали, чтобы мы не выходили на работу: пришли военные — осматривать бараки.

Потом отделили инвалидов и отправили на общий инвалидный лагпункт Темниковских лагерей. Это был страшный лагпункт, потому что инвалиды-уголовники отнимали у наших хлеб, и кашу, и все на свете. Вообще их обижали, оскорбляли, даже избивали.

Как только началась война, наш лагпункт освободили для немецких военнопленных, а нас перевели на лагпункт, где до того были малолетки. Нас встретили комары и страшная грязь.

И была там детская карусель. Среди нас в то время находились польки — зимой 1939-40-го года к нам доставили довольно порядочный их этап. Состав очень разный — перебежчицы от нас в Польшу и бежавшие из Польши к нам, от немцев. Их всех хватали и давали три года, пять лет, а потом и восемь. Там были совсем молоденькие польки, и они эту карусель крутили. А у нас тогда было состояние очень тяжелое, подавленное — сорвали радио и газет не давали первое время. Было страшно.

Потом, поздней осенью, нас и оттуда перегнали, на второй лагпункт. Там тоже было большое швейное производство — шили шинели. На этом лагпункте я и оставалась до конца своего срока.

О том, что делается на фронте, мы ничего не знали. Но когда была опубликована речь Сталина, нам выдали газеты. Более того: мобилизовали несколько чтниц, я попала в их число. Мы переходили от бригады к бригаде (вышивали опять во дворе, больше нигде было) и читали вслух эту статью.

Г.И. На минутку прерву: по разным лагпунктам было по-разному. Мы на первом лагерном пункте слушали речь Молотова в двенадцать часов. И речь Сталина я слышала, когда он сказал: «Братья и сестры!» У нас не отключали тарелки.

— А нам только газеты дали.

У нас работала большая плотницкая бригада, надстраивали второй этаж к баракам. Эти заключенные были какие-то очень смиренные, но это не 58-я статья была.

Вообще у нас было представление, даже не знаю, на чем основанное, что в Темниковских лагерях нет мужчин с 58-й статьей. Мы их ни разу не встречали.

Так вот, я им читала. Прочла, встал один рабочий, он стоял, как в кино показывают ленинградских рабочих, очень красиво поблагодарил меня и попросил:

— Если вам не затруднительно, прочтите еще раз.

Я прочла.

Меня тоже поразил текст, и более всего обращение: «Братья и сестры!» Ольга Эммануиловна Гуревич, вдова Чайнова, тихонько сказала мне, что это по одному из посланий Наполеона армии.

В этой семье хорошо знали историю революции. Но есть разные версии. Говорят, что похоже на послание апостола Павла. Не знаю.

Мы еще повышивали месяца два. Было тесно, нельзя ни о чем подумать, сосредоточиться — невыносимо. Поэтому, когда организовали сенокосную бригаду, я в нее попросилась, хотя никогда в руках не держала ни косы, ни серпа, вообще не имела никакого отношения к сельскому хозяйству. Там подобралась простые женщины, которые имели об этом какое-то представление. Но меня в эту бригаду включили. Сначала мы ходили не очень далеко; конечно, под конвоем, и конвоир говорил свое «шаг вправо, шаг влево», «попытка к побегу, стреляем без предупреждения», еще какие-то слова, но мы на это уже совершенно не реагировали. Косили мы до обеда. Оказалось, что это очень приятный физический труд. Я тогда была молодая, здоровая. Нагрузка распределяется удивительно равномерно. Надо и

ходить, и руками вправо и влево, и всем корпусом поворачиваться, и все это не нагибаясь. Очень приятный труд.

Потом нас приводили обратно, обедать. На вышивке есть совершенно не хотелось, а вот тут невероятный аппетит развивался. Кормили как и раньше: невкусно, непитательно, но достаточно. И хлеб еще был полубелый, пшеничный. Когда мы возвращались в зону, к нам бежали навстречу и несли хлеб, так мы были голодны. Но мы обедали в зоне. А когда нас стали отводить все дальше и дальше, мы уже не возвращались обедать, а отдыхали там, на опушке леса. В лесу, оказывается, спать трудно, очень шумят деревья. И мы зарывались в стога. Конвоир нам стал давать «Советскую Мордовию», и мы потихоньку ее там читали.

Как только высыхала роса, мы прекращали косить и возвращались.

Это было все-таки легче, чем теснота и глупые разговоры.

Обед нам возила расконвоированная уголовница. Однажды она не привезла обеда. Сегодня смешно вспоминать, а тогда казалось трагедией.

Конвоир был добрый, хороший. Он нас жалел. Фамилия его была Бей. Потом весь тот конвой взяли на фронт и они все погибли. А нашего Бея сменил другой, контуженный в финскую кампанию. Придурковатый парень, ничего не скажешь. Он тоже давал нам газеты. Я была страшно невежественна в вопросах войны и спросила, что такое дот, и что такое дзот? Я не знала, что это такое. Он ужасно испугался, схватил газету и спрятал. Меня все ругали: ну что ты задаешь глупые вопросы!

Затем вообще всякое вышивание прекратилось и стало очень тяжело. Один выходной в месяц, двенадцатичасовой рабочий день. Питание плохое, было голодно. Особенно трудно приходилось в пересменку — с ночной смены на дневную. Представьте себе, мы возвращались с ночи, завтракали и опять выходили в цеха работать.

И вот как-то раз, когда я вернулась с ночной смены, уже позавтракала и улеглась, а спала я всегда на верхних нарах, ко мне подошла одна женщина. У нас была такая маленькая группа женщин, конторских работников: счетоводы, бухгалтеры. Они работали на соседнем мужском лагпункте, в конторе. Вставали еще раньше нас, коптели доньшко консервной банки, потом эту копоть снимали и переносили себе на ресницы. То есть нельзя было ни моргнуть, ни прослезиться. Большая выдержка и сила воли нужны.

И вот подошла ко мне эта женщина, протянула листок бумаги и заговорщицким тоном говорит:

- Аля, прочти.
- Я хочу спать.
- Ну прочти.

Я встала и прочла. Это были стихи. Я спросила:

- Кто это написал?

Она совсем загадочно мне ответила:

- Не все ли тебе равно?

Ну, я и решила, что это какой-нибудь офицер написал: тот лагпункт, где они работали, все время пополнялся офицерами, которые попадали в лагерь прямо с фронта. Стихотворение называлось «Жди меня». Я прочла его очень быстро «Жди меня, и я вернусь, только очень жди...» И, как и многие, не заметила слов «как среди огня». И, как все, решила, что это написано в лагере.

Она была в восторге. Она спросила меня:

- Ну как?

Я сказала:

- Гладкие стишки. Но очень уж самодельные.

Улеглась и заснула. А когда проснулась, часа в три, все переписывали эти стихи, заучивали и плакали. Таким образом приоритет принадлежит нам, а не писателю Астафьеву, который вложил эти строки в уста уголовного.

Да и потом один старый знакомый, который в то время был, как и я, в лагере, сказал, что когда они получили эти стихи, тоже не в газете, а переписанные, то и они, все как один, были уверены — это пишет кто-то из лагеря.

Меня эта история жгла долго. Я очень хотела, чтобы это дошло до Симонова. И кому только из знакомых писателей я не рассказывала, никто пересказать ему не хотел. Но все-таки я дождалась своего часа. В 1973 году отмечалось восьмидесятилетие со дня рождения Маяковского. Симонов был председателем юбилейной комиссии. Меня попросили написать, что я помнила о выставке, которую Маяковский сделал незадолго до смерти — «Двадцать лет работы». Я написала, а на открытии выставки увидела Симонова. Подошла к нему, поблагодарила (он мне звонил по поводу моей заметки), а затем сказала:

— Константин Михайлович, пользуясь случаем, хочу рассказать вам одну вещь.

И рассказала. Я очень торопилась, и у меня как-то не получалось:

- А знаете ли вы... А знаете ли вы...

Он очень внимательно слушал, очень мило улыбался, а потом сказал:

— А знаете ли вы, что однажды в мужских лагерях добавили десять лет срока по обвинению в авторстве этого стихотворения?

Тут уж, после этой его фразы, мой рассказ потускнел совершенно.

Еще добавлю, что среди нас была молодая женщина, композитор из Киева, Тая Шутенко. Помню, нам выдали баян, и когда она разводила меха, у нее каждый раз было удивление в глазах оттого, что получался какой-то звук. Потом она научилась им управлять. Она положила «Жди меня» на музыку для конкретного дуэта. Обе исполнительницы были профессионалки. Одна — певица из Грузии, не помню ее фамилии, Другая, Лёля Козырькова-Боева, закончила консерваторию. (Лёлин муж был в Америке советским торгпредом на правах замнаркома, то есть замминистра по-сегодняшнему.) Они исполнили этот дуэт на нашем вечере-концерте, и все наши женщины плакали ужасно...

А мое отношение к этим стихам с тех пор не изменилось. Я сказала «гладкие стишки», так и думаю. И до сих пор не понимаю, почему они пользовались такой популярностью. Очень печально, что такие плохие стихи действительно были талисманом.

Хотя один очень авторитетный для меня литературовед, прочитав это стихотворение, сказал:

— Снайперский стих.

Прерву рассказ о войне и вернусь к временам мирным.

У нас на первом лагунке был грузинский барак. Вообще, по моим наблюдениям, грузинки составляли вторую, самую большую национальную группу после русских женщин. Был целый лагпункт грузинский — больше тысячи человек. Сталин сводил счета.

Году в 1939 я зашла в этот барак за какой-то книгой. Старостой барака была Магда Купрашвили, возможно, жена Купрашвили, участника известной тифлисской экспроприации, которой руководил Камо. И Сталин в этом участвовал. Они забрали деньги, но пришлось их сжечь, потому что номера купюр были переписаны и об этом сообщили во все европейские банки. Но это все к делу не имеет отношения.

Магда Купрашвили разбирала посылку. Посылки тогда получали еще единицы. И она что-то вынула из ящика, завернутое в грузинскую газету, в кусочек газеты. Моя мама тоже так делала: заворачивала что-нибудь в «Литературку», чтобы мне было интересно. Магда прочла вслух, по-русски: «Товарищ Лаврентий Берия освобождается от поста секретаря Центрального Комитета Компартии Грузии в связи с переводом на работу в Москву».

Я переспросила ее:

— Так и написано — в Москву?

Она сказала:

— Да. У нас так пишут.

И вдруг у нее сделались совершенно мутные, бессмысленные глаза, она села на нары и говорит:

— Он будет вместо Ежова.

Я просто удивилась такому нахальству. Сидим на нарах в первом лагпункте спецотделения Темниковских лагерей и рассуждаем, кто будет вместо Ежова. И все грузинки, когда это услышали, так загалдели по-грузински, что-то невероятное.

Я взяла книгу и пошла к себе в барак. Дело в том, что я о Берии ничего не знала. Как раз в период наших арестов в «Правде», а может, и во всех газетах печатался его труд «К истории большевистской организации в Закавказье» (я не предполагала, что это кто-то за него писал). С продолжением, из номера в номер. И видела фотографии, и мне показалось, что интеллигентная морда.

Я вернулась в свой барак. Моя подруга спросила:

— Где ты была?

— Я была в грузинском бараке, взяла книгу.

— Ну что там слышно? Какие новости принесла?

Я сказала, что Купрашвили получила посылку и там... ну, в общем, я ей все пересказала — про грузинскую газету и т.д. И как Магда сказала, что он будет вместо Ежова.

И тут, к моему удивлению, моя подруга, жена крупного чекиста, так же, как и Магда, села, у нее так же помутнели глаза, и она сказала:

— Это очень плохо для моего Гриши.

— Почему?

— Потому что мой Гриша был одним из организаторов ЧК, и когда к нему прислали Берию, он с ним поговорил и сказал: «Нет, этот человек нам не подходит». А грузины очень злопамятны, он ему не простит.

Наши женщины, работавшие в конторе, рассказывали, что начальнику как-то позвонили по телефону — а там были фанерные перегородки, и все было слышно, — и он выскочил после этого разговора с портретом Ежова в руках (портрет был под стеклом, окантован позолоченным багетом) и сунул его во всей этой окантовке прямо в печку.

Потом у нас начались некоторые послабления (кончились они с началом войны). Разрешили запросить о детях, разрешили посылки, свидания. «Дома свиданий» еще не было. И живая, сообрази-

тельная, очень энергичная Соня Кирсанова накинула на плечи своей матери телогрейку (в остальном та могла вполне сойти за заключенную) и так они прошли мимо конвоира — через зону и через барак. Мы остолбенели. Но, как ни странно, никто не донес. И конвоир, кажется, ничего не заметил.

А Мара Еланская не могла этого проделать, потому что к ней приехали мать, брат и две дочки; и ее мама никак не была похожа на заключенную.

Ко мне тоже приезжала мама, в апреле 1940 года и в марте 1941-го. Во второй раз она приехала с моей дочерью, которой было шесть лет. Когда дочка увидела над воротами лагеря четыре профиля, она удивилась и спросила:

— Баба, а зачем их тут повесили?

И мама, не задумываясь, ответила:

— Чтобы видели, что наделали.

Но потом испугалась и сказала:

— Доченька, если ты кому-нибудь расскажешь, что я так сказала, то меня посадят, туда же, за забор, а тебя — в детский дом.

Мама всегда пугала ее детским домом. И это запугивание имело основания: когда нас, жен, сажали, некоторые дети оставались одни и их забирали.

Г.И. У меня лежат воспоминания такого ребенка, но он бежал из детского приемника; он в туалете залез на бачок и увидел, как несут трупики детей, кидают в яму, засыпают известкой и землей. Ему было тринадцать лет, и он умудрился сбежать.

— И за нашими детьми приходили. Хотя мой бывший муж не был ответственным работником, а всего лишь рядовым инженером Метростроя, за дочерью приходили трижды. Но мать не отдала. А вот за девочками Мары Еланской приходили пять раз. У них отец был крупный чекист.

Мы, конечно, не знали, но многих детей брали родные — бабушки, дедушки, тети, дяди, няни, домработницы; одного мальчика в Киеве взял к себе дворник, и тот жил у него, пока его бабушка не разыскала.

А грузинки, очевидно, знали, кто такой Берия. Может, и кто-то еще, но я совершенно не знала. Я только отметила вот эти послабления. Да еще говорили, что он выпустил пятьдесят тысяч заключенных, из тюрем, не из лагерей, и что выпустил потому, что создавал себе такую репутацию либерала.

Когда началась война, к нам влили уголовниц. До войны мы были только в своем кругу. При всей неодинаковости и неравенстве культурного уровня «жен» все-таки было общее в нашей среде. Ну,

во-первых, эта вечная тоска о детях. Мне одна женщина говорила, что это был лагерь не жен, а матерей. Вероятно, это правильно. Ну, и потом какие-то элементарные правила общежития, честность, порядочность, даже при наличии стукачей.

Уголовниц к нам влили не самых страшных. (Предполагалось, что мы научим их работать, перевоспитаем, так сказать.) Уголовницы были разные. Были настоящие, профессиональные, не имевшие никакого гражданского статуса. Но были и женщины, которые вынесли пайку хлеба на рынок, поменять на что-то другое. Эти тоже считались уголовницами.

И еще одна страшная категория, то есть, страшная с нашей точки зрения: это опоздавшие на работу. Их тоже сажали. Некоторые из молодых девушек, попав к уголовницам, быстро «перевоспитывались». Это было ужасно.

С появлением уголовниц у нас завелись вши. До этого у нас не было вшей, даже когда мы в Бутырках сидели. Нас как-то раз больше месяца не водили в баню. Мы кричали начальнику тюрьмы, что завшивели, и требовали баню. Но ни одной вши на самом деле не было, потому что вши, оказывается, заводятся не от грязи и в грязи, а заводятся они от вшей. Да и в лагере мы были освобождены от такого ритуала, как прожарка, — о ней знают все, кто сидел. Не было необходимости.

И еще мне хочется рассказать об очень небольшой группе женщин, которые были с нами. Это немки. Из Германии. Обычно они сидели по подозрению в шпионаже. Сидели, так сказать, за себя. А мы сидели за мужей.

Первая попала к нам еще в подследственную камеру Бутырской тюрьмы, в ночь с 27 на 28 июля 1937 года. (Это была вторая партия арестованных, первая прибыла в ночь с 21 на 22 июля.) Фамилия немки была Фридман. Не знаю, откуда мы взяли, что она коминтерновка, она не говорила по-русски ни слова. Сошла с ума сразу же, еще в тюрьме.

Одна умная женщина сказала:

— Вероятно, это единственный человек, который понял, что с нами сделали.

Немка не могла спать. Ей казалось, что она нам мешает, что это из-за нее свет горит ярко. Наутро она отказалась от еды. Но староста, пожилая женщина, в конце концов заставила ее пить чай и понемножку есть.

Она непрерывно о чем-то говорила, очень тихо, по-немецки, но среди нас было достаточно женщин, знавших немецкий язык. Тогда

он был так же популярен, как сейчас среди молодежи английский. Она приехала с нами в лагерь и жила в общем бараке. Вокруг нее сплотилась маленькая группа женщин, хорошо владевших немецким, и они уделяли ей много внимания. Во-первых, они заставляли ее есть: одна из них садилась напротив и ела, а та, глядя на нее, повторяла ее движения. Потом они уже ее кормили с ложечки, гуляли с ней. Она страшно много ходила, маршировала очень быстро. Сопровождавшие ее даже сменялись. И все это в общем бараке, в котором было более двухсот человек. Никто не протестовал, но потом, когда она стала уже неопрытна, ее увезли. Мы думаем, что она умерла где-то в дороге.

Другая немка была Аня Киперс, жена сотрудника нашего посольства в Берлине. Она, кажется, сама написала воспоминания. Совсем молодая женщина, ей было двадцать шесть лет, а выглядела она и вовсе лет на восемнадцать. Она довольно хорошо говорила по-русски, хотя в Советском Союзе жила недавно. Была выдержанная, воспитанная, очень приятная. И, я бы сказала, сознательная, в том смысле, который мы тогда вкладывали в это слово. По утрам она делала зарядку, длительную, почти сорокаминутную, хотя была очень больная. Она страдала неврозом желудка и не могла есть хлеб. Нас кормили серым хлебом, а он был для нее губителен. Ей был нужен ржаной.

У меня сохранились о ней воспоминания как о человеке удивительной выдержки, такта, любви к людям, причем без всякой сентиментальности, без показных проявлений. Человек очень интеллигентный. Я помню наши с ней разговоры о литературе. Она говорила мне о Фейхтвангере, что он был великий словотворец. Я нигде об этом не читала. Тогда мы все увлекались Фейхтвангером, его антифашистскими романами.

После лагеря она встретилась с мужем. Они были в ссылке вместе, и у них родился сын. Сейчас она живет в Риге.

И еще короткое воспоминание об Ане Киперс. Когда у нее кончился срок, ее, как и других немок, не выпустили за зону. (С них брали какую-то подписку и возвращали обратно.) Когда мне сказали, что Аня снова здесь и спит в бане, я побежала туда. Было летнее раннее утро, залитый солнцем светлый предбанник. Она, как всегда, изящно и красиво спала, прикрыв рукой глаза. Я слишком резко открыла дверь, вбежала, топая ногами, Аня открыла глаза и впервые я услышала, как ей изменила ее всегдашняя выдержка. Она сказала:

— Ой, Аля, лучше не просыпаться.

И еще одна, Елизавета Юльевна Шнейдратус, немецкая коммунистка. Жена архитектора. Муж тоже немецкий коммунист. Они приехали еще до прихода к власти Гитлера помогать нам строить социализм. Между прочим, ее муж проектировал большое здание на подъезде к Комсомольской площади. «Оргметалл» называлось.

Держалась Елизавета Юльевна хорошо: выдержанно, подтянуто. У нее было большое чувство собственного достоинства. Посадили ее, мужа, их сына Вернера, а дочь осталась на свободе.

Такое странное совпадение: их сын женился на моей школьной подруге. После смерти Сталина Елизавета Юльевна с сыном уехали в ГДР. Вернер стал заместителем министра, кажется, строительства. Она приезжала в Москву в гости к дочери. Прожила, как и большинство женщин-зэчек, довольно долго..

Однажды на первом лагпункте появилась еще одна немка — немолодая, высокая, статная. Крещенца Мюзам.

Вечером этого дня меня спросили:

— Ты никогда не слышала этой фамилии? Она, эта немка, говорит, что она жена поэта, вроде по фамилии Муза.

Я догадалась, что это жена Эрика Мюзам. Догадалась, потому что была осведомлена лучше других. Работая в редакции «Литературной газеты», я читала то, что почти не попадало в общую печать. Эрик Мюзам — немецкий поэт, антифашист и анархист, был еще и евреем. И Гитлер швырнул его в концлагерь.

Мы получали тассовскую информацию о том, каким пыткам, издевательствам, надругательствам он подвергался в фашистских лагерях. Затем стало известно, что его замучали и что тело выдали жене. Это был 1934 год, когда закончились его мучения.

Я ответила, что не знаю поэта с такой фамилией. Действительно, стихов его я не знала.

Я дружила с женщиной, Рашелью Шапиро, которая, по общему признанию, лучше всех лагерниц владела немецким. Во всяком случае, когда ее арестовали, она как раз писала конспект по «Капиталу» Маркса на немецком языке. Я ей тихонько сказала, что, очевидно, здесь, в лагере, жена Эрика Мюзам. А Рашель была старой большевичкой, очень правоверной. Она так возмутилась:

— Как ты смеешь говорить такие вещи?!

Ей трудно было даже вообразить, что жена Эрика Мюзам могла попасть в наши лагеря.

Я посоветовала ей все-таки поговорить с Крещенцей. И на второй день Рашель мне сказала:

— Ты была права. Это жена Эрика Мюзам. Но, знаешь, давай никому ничего не скажем. Мюзам у нас не знают, и не нужно этого рассказывать. Это позор.

Я согласилась.

А вот что мне рассказала Крещенца Мюзам. Когда она получила тело мужа, она никак не могла его похоронить, потому что он был атеист и еврейские общины не хотели хоронить его на еврейском кладбище. И она похоронила его в деревне, на родине своей няньки.

А затем все страны мира предложили ей свое гостеприимство. Особенно звала ее сестра, которая вышла замуж за американца и жила в США. Но она, конечно, выбрала Советский Союз и приехала к нам. И вот что она получила.

Она была ручницей, то есть выполняла ручные работы — то ли пришивала пуговицы, то ли обметывала петли. Скорее, пришивала пуговицы и отрезала кончики ниток. Это называется зачистка. Немки очень охотно работали во дворе зоны. И часто, когда я проходила мимо, я слышала ее такой басовитый голос и удивительно понятную немецкую речь.

Месяца через два — два с половиной ее вызвали «с вещами» и увезли. И мы с Рашелью решили, что, конечно, МОПР за нее заступился.

Я бы забыла о ней, но когда началась война и меня переместили на другой лагпункт, я снова встретила Рашель Шапиро. И она мне сказала:

— Ты знаешь, здесь Крещенца Мюзам. Она на сельскохозяйственных работах.

Я встала у ворот и ждала, когда вернется их бригада, чтобы поглядеть на нее. Ее лыжный костюм, в котором она ходила раньше, был весь покрыт цветными заплатами. (Позднее, уже в Москве, когда у нас впервые были гастролы Театра Брехта, я смотрела «Матушку Кураж». В конце спектакля замечательная немецкая актриса Елена Вайгель появляется в телогрейке — запыленная, седая. Вот она мне чем-то напомнила Крещенцу.)

После реабилитации у нас с Рашелью возобновилась старая дружба, мы бывали друг у друга. И как-то в конце 62-го или в самом начале 63-го года она мне сказала, что прочла в «Нойес Дойчланд» большой некролог, посвященный Крещенце. После смерти Сталина она жила в ГДР.

Конечно, в некрологе даже и не упоминалось о том, что она была в наших лагерях. Писали главным образом о тех мучениях, пытках и издевательствах, которым подвергался сам Мюзам.

И пятая немка. Мне довелось встретиться с ней в пересыльной камере Бутырской тюрьмы. Это была совершенно сумасшедшая молодая балерина по фамилии Краузе. Всегда очень возбуждена, взвинчена, но никогда не раздражена и не зла. Улыбалась. Когда ее привели, она была в лохмотьях, полуголая. Ольга Викторовна Третьякова, наша староста, энергичная и настойчивая, я уже говорила о ней, добилась, чтобы Краузе выдали смену белья, такого простого, красноармейского. И вот в этом белье она, стриженная наголо, танцевала и прыгала по камере. Но не думайте, что прыгала по полу. Тогда уже нары были сплошные: скамейки и через них щиты. Так вот, она прыгала, очень профессионально, никому не наступала на ноги, на руки. А начала она так танцевать и прыгать, когда увидела, как утром делает зарядку балерина Катенька, жена Фурера. Изящная, подтянутая молодая женщина, почему-то она делала свои упражнения некрасиво. А эта сумасшедшая, как увидела, обрадовалась и стала делать тот же самый комплекс, но так, как будто это были не упражнения, а настоящий танец. Когда нас увезли, она еще оставалась, и мне не известно, дожила она до лагеря или нет...

В сорок втором году у «пятилеток» кончился срок, но нас не выпустили. На нас распространили Указ Президиума Верховного Совета, разрешавший руководителям предприятий оборонного значения не увольнять работников по собственному желанию. А так как все лагеря были «оборонного значения» — мы шили шинели, белье, гимнастерки, штаны, — то на нас очень легко было все это распространить.

Нас оформили как вольнонаемных, но наше положение почти не отличалось от положения заключенных. Мы по-прежнему работали в лагере, на тех же предприятиях.

Г.И. В моей справке об освобождении сказано, что я освободилась в сорок втором году, паспорт выдан в сорок шестом. То есть с 1942 по 1946-й мы жили без паспортов.

— И у меня так написано. Мне выдали паспорт уже в Средней Азии, когда я приехала к своим.

Итак, изменили конфигурацию забора и, таким образом, находившийся в углу зоны барак оказался по ту сторону. Мы имели право вольного хождения. В лесу собирали бруснику, и я, помню, так наелась, что у меня кровоточил язык. Она была ужасно кислая. Еще мы могли ходить в соседнее село Вендрей за семь километров и что-то такое там поменять на картошку.

Баню нам топили редко. То есть, кроме того, что не было мыла, еще и бани не было. Можно было бы хоть без мыла помыться, тем более, что мы сделали такое открытие: в углу зоны глина обладала

какими-то моющими свойствами. Намажешься этой глиной, потом смоешь ее и, конечно, становишься чище. Но все-таки мы были вшивы. Как мы с этим ни боролись, ничего не помогало. И вот однажды на собрании, уже будучи вольнонаемной, я произнесла горячую речь. Я накричала на начальника:

— Вы отдаете себе отчет в том, что мы с шинелями посылаем на фронт вшей?.. Затопите нам баню.

Дров там было сколько угодно, это были лесные лагеря.

После собрания ко мне подошла заведующая закройным цехом, похвалила за ораторское искусство, за горячность и темперамент и шепотом сказала:

— Но, чтоб ты знала, мы получаем вшивое сукно.

Я, конечно, ей не поверила. А примерно через неделю, мы работали в ночь, пришла уборщица закройного цеха и говорит:

— Тебя зовет Люся, заведующая.

Я ответила, что у меня никаких дел в закройном цехе нет. По работе у меня с ними не было контакта. Я была учетчица на конвейере.

Она сказала:

— Ты же знаешь Люсю. Я не могу без тебя прийти.

Я накинула шинель, и мы пошли.

— Пришла? Вот, полюбуйся.

Разворачивая рулоны, они настилали сукно, слой за слоем, а по нему ползали огромные белые платяные вши. Это было невыразимо страшное зрелище. Я даже не могу вам передать.

Я спросила Люсю:

— Ну ты заявила об этом? Ты написала?

Она сказала:

— Ты что, с ума сошла? Хочешь, чтобы меня расстреляли?

А теперь несколько слов о человеке, который не имел непосредственного отношения к Темниковским лагерям. Этот рассказ косвенно касается писателя Бабеля.

С нами сидела домработница Ежовых. К сожалению, не помню ни имени ее, ни фамилии. Она была удивительно незаметной.

Однажды (это было летом, то ли сорокового, то ли тридцать девятого еще года) она вышла на крыльцо, перекрестилась и сказала: «Царство небесное, царство небесное...» — была годовщина смерти жены Ежова, Евгении Соломоновны.

Когда Ежов стал наркомом внутренних дел, жену его назначили ответственным редактором двух журналов — «Советской женщины» и «СССР на стройке». До этого она служила скромным техредом в

Детгизе. Все, кто с ней встречался по работе, говорили, что она была чуткий, хороший человек, воспитанный, вежливый; что она не такая, как другие выдвиженцы, которые заносились невесть куда.

Мне рассказывали о ней и до того, как я села. Говорили, например, что когда Сталин звонил им домой, она бросалась в спальню, прятала голову под подушку и стояла так, на коленях, пока разговор не прекращался. В конце концов она застрелилась.

Известно, что Евгения Соломоновна очень дружила с Бабелем.

Позднее, уже когда я была реабилитирована и работала в редакции «Журнала Мод», у нас сотрудничал один старый журналист, Исмаил Уразов. Когда Евгения Соломоновна была ответственным редактором журнала «СССР на стройке», он работал там же — то ли ответственным секретарем, то ли завредакцией. И он рассказывал мне, что по субботам (тогда суббота была рабочим днем) к ним в редакцию приезжал Бабель. И они с Евгенией Соломоновной редактировали текст журнала. И еще Уразов указал на некоторые номера, автором текста которых был Бабель. Свекле посвященный и еще что-то такое, в том же роде.

И еще о Бабеле. То, что мне рассказывала его вторая жена, Антонина Николаевна Пирожкова.

В 37-м году Бабель, по ее словам, много и свободно говорил, острил и шутил непозволительным образом, как тогда не было принято. И она в страхе, вполне естественном, пыталась повлиять на него, но он не слушался. И тогда она решила выбрать кого-нибудь из друзей Бабея и попросить поговорить с ним — о том, что надо вести себя все-таки поосторожнее. Ведь, кроме всего прочего, есть много дураков, которые любое слово могут истолковать по-своему.

Ближайшими друзьями Бабея были Михоэлс и Эйзенштейн. Это не подходило. Дружил он с Олешей, который тоже себе позволял Бог знает что. И она решила обратиться к Фуреру — секретарю то ли Московского обкома партии, то ли Московского горкома. Сравнительно новый человек. Переведен из Донбасса, где был секретарем Донецкого обкома. Интеллигентный; во всяком случае, старался выглядеть таковым. В Москве он сразу завел дружбу с Кукрыниксами, с Бабелем, еще с какими-то прогрессивными, не скованными партийной дисциплиной и служебным положением людьми.

Вот этого Фурера она и решила попросить поговорить с Бабелем. Позвонила ему, и он назначил свидание в своем то ли обкоме, то ли горкоме. Она была беспартийная, он выписал ей пропуск, и она пришла.

Здание было старинное, в комнате горел камин. Фурер очень оживленно чистил свой стол и бросал бумаги в огонь. Он извинился перед Антониной Николаевной, сказал, что завтра уезжает в командировку и хочет оставить все в порядке. Сказал, что внимательно ее слушает, понимает и запоминает, что она говорит, и сжигание бумаг это просто такая механическая работа.

— Ради Бога не обижайтесь, у меня мало времени, мне некогда будет это делать потом.

Она пожаловалась ему, что Бабель позволяет себе острить: такого-то посадили, потому что он лучший знаток Тацита в мире, такого-то — потому, что он лучше всех немцев на свете знает творчество Гейне, и так дальше.

Фурер поддакивал:

— Вы совершенно правы. Я поговорю с Исааком Эммануиловичем. Так много дураков, могут неверно истолковать его слова, его остроумие. Я обязательно его приглашу и поговорю с ним.

Он очень мило держался с ней, проводил ее до двери, поцеловал одну руку, потом другую. Очень внимательно посмотрел ей в глаза. И в ту же ночь застрелился.

Это не спасло его репутацию. Он был объявлен врагом народа. И с нами в пересыльной камере Бутырской тюрьмы сидела его жена, балерина Катенька.

И еще об одном писателе. Одесский еврейский писатель — Натан Михайлович Лурье. Он был репрессирован в период борьбы с космополитизмом и попал не более и не менее как на Колыму, и там работал на каких-то страшных рудниках. Рассказывая мне все это уже в пятьдесят седьмом году, после его и моей реабилитации, он и тогда не произнес ни слова о том, что там добывалось.

Рассказывал, что в отчаянии написал письмо лично Фадееву, с которым был хорошо знаком. Передал он это письмо через кого-то из начальников, которому оказывал большие услуги — писал конспекты по краткому курсу партии, резолюции каких-то собраний партийных. И за это они к нему благоволили.

Ну, написал он Фадееву, не надеясь на то, что дойдет. И однажды, довольно скоро, он возвращался с работы. Как раз было лето, длинный световой день, и когда он проходил мимо конторы, на крыльце стояло все начальство, вся администрация. По правилам внутреннего распорядка мы обязаны были здороваться с начальством. И он поздоровался. А они ему хором, дружно ответили: «Здравствуй, Натан Михайлович!» Это было совершенно

невероятно. Там даже самых «заслуженных» по имени-отчеству не называли никогда.

Его попросили зайти в контору и вручили ответ Фадеева в конверте, на котором были все титулы Фадеева — депутат Верховного Совета, секретарь Союза писателей и т.д.

В письме было: «Дорогой Натан Михайлович... Я получил твое письмо... я передал его кому следует... я верю в то, что несправедливость будет исправлена, что справедливость восторжествует... что твоим делом займутся... а ты, главное, не теряй бодрость, мужество... Я знаю тебя как смелого гордого человека, прошедшего войну» и что-то еще в том же духе.

Ну, что ж, какие были последствия? Его не освободили тут же, но, все-таки, подняли на поверхность, то есть, он перестал работать в шахте, а работал уже каким-то «придурком», как это у нас называлось; и отношение к нему изменилось, и из лагеря, когда их стали выпускать, он вышел одним из первых. В первой партии. И он просил при нем не говорить о Фадееве плохо.

Напоследок мне хочется рассказать о том, как вели себя люди, которых я хорошо знала на воле, как мы привыкли тогда говорить. Помнили они о нас или забыли. Боялись нас или нет. Что они говорили о нас, как они оценивали то, что произошло с нами.

Когда меня арестовали, моей дочери было три годика без одного месяца. Мама отводила ее к моим близким друзьям, это семья художников Эльконовых, а сама бегала по прокуратурам, справочным на Кузнецком мосту и т. д.

Надежда Михайловна Эльконина, ныне покойная, брала за ручку мою дочь, другой рукой — свою дочь и выходила с ними гулять на Тверской бульвар. Там девочки играли в песочнице.

И вот однажды мимо проходила Мара Сергиевская, моя близкая подруга, жена Ивана Васильевича Сергиевского, подающего большие надежды молодого пушкиниста. И когда она увидела мою трехлетнюю дочь, она воскликнула с ужасом:

— Надя! Что вы делаете? Вы с ума сошли! Вы отдаете себе отчет? Ведь это девочка Али Тартак.

Мара Сергиевская была очень тонкий человек. Она убаюкивала свою девочку не песенками, а стихами Блока, Гумилева, Ахматовой...

И еще один пример.

Моей дочери четырнадцать лет. Мама работает в ТАССе. Там организовывались экскурсии в Оружейную палату Кремля. Объявление приглашало записываться с членами семьи. Собственно, ради

*А.И.Тартак
1948 г., Ташкент*



*А.И.Тартак
1936 г., Москва*

своей внучки мама и записалась. Прошло три месяца. И председатель месткома ей говорит:

— Мы вот тогда-то и тогда-то идем на экскурсию в Кремль. Вы, Сарра Марковна, включены в список, а ваша внучка — уж извините. Ее мы включить не можем, ведь у нее родители репрессированы. (А я тогда уже была свободной.)

И третий случай: моей дочери восемнадцать лет, студентка первого курса московского вуза. Она приехала к моей двоюродной сестре, к своей тете. Сын сестры обещал ей покроить и даже сшить шаровары, в которых тогда занимались спортом. Она застала там двух человек, ей незнакомых. Один из них так начал нервничать, чуть не на стенку лез. Он хотел уйти. Его уговаривали этого не делать, и дочь поняла, что это из-за нее. Штаны ей были очень нужны, но как только их быстро скроили и сшили, она ушла. Запрыгивая за ней дверь, тетя, моя кузина, сказала:

— Танечка, ты знаешь, кто это? Это дядя Валя.

То есть это мой двоюродный брат, дядя моей дочери. Вот какой ужас внушали даже наши дети.

Это было в 1952 году. Прошло тридцать лет, и как-то дядя Валя приехал в Москву. Мы не виделись ни разу за это время. Он жил и работал в Ашхабаде. Другой двоюродный брат захотел созвать всех родственников, и меня пригласил. Я сказала, что я никогда не сяду за один стол, никогда не подам руки вот этому самому «дяде Вале». Он мне не поверил. Рассказал Валентину. И тот удивился: «Как это Аля не понимает такие вещи? Она-то лучше других должна понимать».

Это был 82-й год. Сталина уже вышвырнули из Мавзолея, и нам казалось, что люди хоть что-то поняли.

Разумеется, не все себя так вели. Большое участие принимал в моей судьбе и никогда не стыдился того, что мы были друзьями, известный детский писатель Лев Кассиль. А Сергей Михалков, встретив меня у Кассиля, когда я впервые приехала в Москву, сказал:

— Вы не представляете себе, как мы рады видеть человека, который вернулся оттуда, где были вы...

Запись сделана в 1990 г.

Содержание

<i>Н.Г.Охотин. Предисловие</i>	3
<i>От составителей</i>	4
Г.И.Левинсон. Я постаралась забыть...	5
Рассказы, записанные Г.И.Левинсон	
Т.Д.Руженцева	64
Н.С.Шлегер-Заскальная	82
А.В.Волынская	96
Т.В.Косталевская	114
А.И.Тартак	128

Левинсон Галина Ивановна

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ

Руководитель издательской программы Я.З.Рачинский

Зав.редакцией Л.С.Еремина

Художник И.Бороздина
Фотоработы Ивана Клятова

Подписано в печать 10.01.1996. Формат 60×90/16

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 10,0. Тираж 1000.

Отпечатано МП Информполиграф. Заказ 777.

Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал»
103051, Москва, Малый Каретный пер., 12.

